



Веслав Мысливский

ТРАКТАТ о лущении фасоли

Перевод Константина Кучера

С творчеством польского писателя Веслава Мысливского я познакомился, когда ко мне в руки попал седьмой номер «Иностранки» за 1986 год, в котором, на мою беду, оказалась первая часть романа Мысливского «Камень на камень». И так она меня захватила, что я не только пошел в библиотеку за двумя следующими номерами журнала, но и, как это принято нынче говорить, запал на этого автора. Поэтому, когда в апреле 2011 года в моем распоряжении оказался польский оригинал «Трактата о лущении фасоли», я даже не раздумывал. Стал потихоньку его переводить...

К. Кучер

Пан пришел купить фасоли? Ко мне? Да сейчас пан может купить фасоль в любом магазине. Но прошу, пусть пан войдет. Он боится собак? Пусть пан их не опасается. Они только обнюхают его. Кто приходит первый раз, должны обнюхать. Чтобы я об этом знал. Я их этому не учил. Они сами. Пес, как и человек, такая же неразгаданная загадка. У пана есть пес? Тогда пан должен об этом знать. У собак много чему можно научиться. Ну, Рекс, сидеть. Сидеть, Лапша. Хватит.

Какой дорогой, как пан сюда добрался? Ко мне не так легко попасть. Ладно там, в сезон. А сейчас даже спросить обо мне не у кого. Пан видел, в домиках – ни души. Давно все повыезжали. Мало кто и знает, что тут живут. А пан за фасолью. Вообще-то я сажаю немного фасоли, но так, только для себя, а мне много ли надо? Так, самую малость. Морковь, свекла, лук, чеснок, петрушка. Всего по чуть-чуть. Чтобы свое было. Да и скажу пану, я сам фасоль – не особо. Есть ем, но только потому, что надо есть. А чтобы я ее обо-жал, так нет. Иногда сварю себе фасолевого супа, или приготовлю фасоль по-бретонски, но редко. А собаки так вообще фасоль не едят.

Давно, очень давно здесь сажали много фасоли. Не знаю, слышал ли об этом пан, но когда-то фасоль заменяла мясо. А с такой работой, как здесь вкалывали, от рассвета и до самой ночи, человек должен был съесть по хорошему куску мяса. Ничего не говорю, и покупатели часто за фасолью приезжали. Не только за ней, но ее покупали больше всего. Тем более, во время войны, когда здесь была деревня. В городах тогда было голодно, как пан и сам знает.

Почти каждый день возчики приезжали за ней со станции. Станция – в паре километров отсюда. Потом уезжали уже с товаром. Чаше всего приезжали, как и сейчас, поздней осенью. Во всяком случае, больше всего их здесь было в это время, когда на полях все уже убрано. У тех, кто до их прибытия успевал вылущить фасоль, забирали ее всю, до последнего зернышка. Бывало, что фасоль еще и не подошла, а ее уже начинали по домам лущить. Чтобы успеть. И сдать! Целыми семьями лушили. От рассвета и до заката. А то и позже. Иногда выйдешь во двор в полночь, а в окнах – и там, и тут – светло. Особенно, когда бобы уродились. Бобы ж, они такие. Могут уродиться. А могут и нет. Чтобы фасоль уродилась, год должен быть хорошим. Ей ведь не нравится, когда слишком много солнца. Когда его много, дождей мало. И горит фасоль. Опять же, как слишком много дождей, так это тоже ей не нравится. Она гнить начинает. Хотя иногда и год, вроде бы, хороший, а каждый второй стручок либо пустой, либо зараженный «ржавчиной». И не понять – почему?! У фасоли, как и у всех нас, тоже есть свои секреты.

Может, пан приезжал сюда как покупатель? Но тогда, думаю, я бы пана узнал. Когда-то почти всех покупателей, что приезжали, в лицо знал. Много фасоли у нас сажали, ну, и желающих купить ее было немало. Но память на лица у меня с детства хорошая. Детская память, она, оказывается, самая крепкая. Что в детстве произошло, потом на всю оставшуюся жизнь запоминается. Конечно, молодым пан совсем по-другому одевался. В те времена покупатели чуть не в лохмотьях приезжали. Были наряды, не было – все одевались поплоче. Чтобы, не ровен час, не нарваться. В поездках ведь и пощипать, обчистить могли. Ты только оденься, покажи, что покупатель... А теперь вижу – пальто у пана, шляпа, шарф. У меня когда-то тоже были почти такие же коричневая фетровая шляпа и плащ. И шарф. Шелковый или кашемировый. Мне нравилось хорошо одеваться.

Почему бы пану не раздеться? Вот, на дверь можно повесить. Там как раз вешалка. И, пожалуйста, пусть пан сядет. Куда захочет. На стул или на скамейку.

Я только закончу эту табличку, немного уже осталось. Дело быстрее бы шло, но руки уже не те. Нет, ревматизм. Теперь и так намного лучше. Хоть что-то могу делать. Жаль, на саксофоне играть не могу. А когда-то играл. И так – все. Даже, видит пан, и эти таблички, что я надписываю. Для этого точность нужна, твердой рука должна быть. Особенно, когда

буковки махонькие. Чуть кисточка съедет в сторону и все. Надо букву бензином смывать и начинать заново.

Почему мне пришло в голову, что пан тогда мог сюда приезжать покупателем? Да потому что вот так, из ниоткуда, не могли вы прийти по мою фасоль. Откуда-то, но должен был пан знать, что сажали ее здесь раньше. И видно думал, что так и продолжают ее сажать. Как и прежде. Человеку всегда так кажется, что в таких местах, где фасоль от веку сажается, ничего не может измениться. Да только как пану удалось сохранить уверенность в том, что есть еще где-то такие вечные места? Не могу понять. Разве пан не знал, что места любят нас обманывать? Что правда, то правда. Не только места нас обманывают. Но они – больше всего. Если бы не эти таблички, то и я бы не знал, что здесь было то самое место.

Что, пан здесь вообще никогда не был? Даже как покупатель? Ну, тогда извиняюсь, что принял пана за него. Видно, слишком долго корплю сегодня над этими табличками. Что за таблички? Имя, фамилия, дата – от и до, пусть покоится с миром. Каждый год об этой поре я собираю их с могил, чтобы подновить. Само имя, фамилия. Несколько букв. А к каждой нужно старание, чтобы покойный не подумал, что если он, положим, с той стороны реки, то абы как ему нарисую. Так уж тут повелось, что всех всегда делят на тех, кто с этой, и тех, кто с той стороны реки. Когда людей что-то может разделить, они обязательно разделятся. И не только по реке.

Почему я думаю, что покойники мыслят? Да потому что мы не знаем – мыслят ли они. А что тогда знаем? Частенько по две, три буквы, особенно когда они вот такие, махонькие, аж глаза начинают болеть и руки дрожать. Для таких особенных букв требуется терпение. Немалое терпение. И только-только нарисую их, как с рядом стоящих букв, тех, что я подновлял в прошлом году, начинает сходить краска. В лесу она сходит быстрее. Влажность, солнечные лучи, бьющие в просвет... Вот и получается, что работа идет по кругу. Сначала одно подновляешь, за ним обязательно другое. А не подрисовывать, так со временем и не разобрать будет, где чья могила. Разные краски покупал. Даже заграничные. А все одно – сходят! Пан не знает такой краски, чтобы не сходила? Да, пан прав. Ни у кого нет интереса в том, чтобы хоть что-то в этом мире было вечным. Тем более – краска. Постоянно что-то приходится закрашивать, чтобы вместо того написать на этом же месте иное.

Нет, не знаю. Может, кто-то и до меня подновлял, но, скорее всего, недолго. Мне так с трудом удалось разобрать, кто на какой табличке. Наверное, тот, кто раньше был, решил, что в этом мире не было и никогда не будет ничего вечного. Вот он и остановился. Перестал подновлять таблички. К тому же – расходы. Сама краска. А еще ведь кисточки нужны. Плюс работа... Хорошо, я тут раньше каждого знал. И то по некоторым пришлось порыться в памяти. Детей жаль. Будто сам только что их крестил.

Вот Зенон Куждал. Уже умер. А ведь был самым молодым из Куждалов. Соседи. Здесь, на этой стороне, только ближе к лесу. Поэтому и забором только от дороги были отгорожены. С остальных трех сторон – лесом. Говорили, что никакой забор им не нужен. Зачем? Лучший забор – лес. Что им может грозить со стороны леса? Кто может прийти из лесу? Если только какая зверушка. Так на них прямо во дворе закладывались силки, ловушки, капканы. И если на день их не снимали, так собственные куры, гуси, утки Куждалов ловились не раз. Да этих кур и уток и так под вечер никогда не могли досчитаться. И каждый вечер подозревали соседей – они, мол! Соседей не впускали иначе, как через калитку со стороны дороги. Калитка была в одном из воротных крыльев. А ворота... Необычными они были. Раза в два выше забора! Над воротами была небольшая, крытая гонтом крыша. А по бокам стояли две фигуры. Не помню уже, каких святых.

Забор, к слову, был очень высоким. Выше дяди Яна у нас никого не было, но и он, даже когда вставал на цыпочки и вытягивал руку, не доставал до его верха. Доски забора были так плотно подогнаны друг к другу, что трудно было найти между ними хоть маленькую щелочку. У дверей висел молоток, которым надо было по ним постучать, чтобы

кто-то вышел из дома и открыл вам. А если кто пробовал зайти к Куджалам со стороны леса, на него сразу же не только собаки с лаем налетали, но и сами хозяева дружно бежали с дрекольем. Так что хочешь, нет, а надо было завернуть до дверей и постучать молоточком.

А вот фасоли бы пан у них не купил. Не выращивали они ее. Потому что все Куджалы были резчиками. Уж на что дедушка старенький и слепой, но если бы пану удалось посмотреть, как он резал, не поверил бы, что резчик не видит. Как так у него получалось – не знаю. Может, как говорят, он руками смотрел?

Резали и три Куждаловых внука Стах, Метек и Зенек. Кавалеры – каких поискать, а вот не видел, чтобы с паннами ходили. Видел только, как резали.

Не резал один отец. Заготовки им на эти статуи подрезал, отесывал. Наверное, и он бы резал не хуже деда и сыновей, да только на этой... Да, на этой руке трех пальцев у него не было. Оторвало их ему еще в ту войну. Но отесать, подрезать что-то – это он мог.

Судя по всему, еще их прадедущка резал. И прапрадед. И неизвестно, как далеко нужно бы углубиться в историю их рода за этими предками – резчиками. У нас так и говорили, что все у них резчики спокон веку.

Даже в воскресенье, как вернулись из костела после мессы, сразу же – за резьбу. Что-бы пока не забыли, вырезать то, что слышали из Евангелия. И хотели они все Евангелие вырезать, потому что, как говорил дедушка, мир есть такой, каким его Бог описал, а не каким человек видит.

Все подворье у них было этими статуями заставлено. И чтобы новую куда поставить, приходилось им с нею идти в лес. Каждый раз дальше и дальше. Может потому и не отгородились Куждалы от леса.

Даже самому умелому возникшему из-за тех статуй не удавалось развернуться у них во дворе, обязательно надо было сдать назад. А как коров выгоняли на пастбище, так пастуху приходилось тщательно присматривать, чтобы те не повалили резные фигуры. Зато котам – раздолье. Уж как они на тех статуях погреться любили.

Часом, ни с того, ни с сего, пес начинал лаять, тогда из дома выглядывали – может, кто-то идет от леса, а он на те резные фигуры лаял. Хорошо еще, что был на короткой цепи. Куждалова сыпала птице зерно, так люди смеялись, что то она статуи подкармливает, потому что их с каждым разом становилось все больше и больше.

А это были не обычные резные фигуры, как то пан может себе вообразить. Нет, пан видит – обломок, а сами статуи, куда там, больше меня или самого пана были. «Тайная Вечеря», например, которую начали вырезать, так целую полянку в лесу заняла. Сам стол – как несколько моих, лавки – тоже самое. Но даже несмотря на это, апостолы сидели так тесно друг к другу, что для Христа, казалось бы, и места уже нет. Он, еле втиснувшись, сидел между одним апостолом, который стоял с бокалом в вытянутой руке, и другим, что уже спал, уронив голову на стол, и был значительно меньше их. Если бы и он, и они все вместе вдруг встали, он едва бы достал им до пояса. Христос уже был с терновым венцом на голове и сидел, как бы огорченный чем-то, оперев голову о раскрытые ладони. С другой стороны стола какой-то из апостолов даже протянул руку к его венцу, словно хотел снять его, и, пожалуй, снял бы, но не дотягивался. На столе стояло несколько кувшинов с вином, а каждый из кувшинов был таким огромным, что навряд ли найдется посуда, с которой можно было бы их сравнить. Если только с садовой лейкой или ведром под картошкой. И то, как бы они оказались не меньше. Хлеб, так даже не помню, чтобы где-то пекли такие буханки. А ведь пекли и килограмм на десять. Хотели еще и навес над той вечерей поставить, но уже не успели.

Не скажу пану, сколько могли бы стоять те резные фигуры. Я их тогда боялся. А разве страх может быть мерой цены? Особенно, если тебе столько лет, сколько мне тогда было. Когда мать за чем-то посылала меня к Куждалам, спросить о чем-то или занять чего-то, то я всегда говорил, что у них того не было. Или что я их дома не застал. Стучал? Стучал,

стучал, но никто так и не вышел. Скорее всего, она мне не верила, так как через какое-то время посылала к ним которую из сестер, Ягоду или Леонку, но так, чтобы я не видел.

Даже не слышал, чтобы какую-то из резных фигур пробовали продать. Кому? Да что пан говорит, как на торг с такими фигурами? А сюда, на село, кто приедет их покупать? Приезжали, скажу пану, покупать живность, фасоль, мак, крупу. Только дедушка как-то пошел, почему – даже не знаю, попросил ксендза, чтобы тот разрешил одну, две фигуры установить в костеле. Но тот не согласился, мол, они школы не заканчивали, нигде резьбе не учились.

Иногда мне снились те их резные фигуры. Всккивал посреди ночи с криком, весь в поту. Мать думала, не иначе у меня какая-то хворь началась. И я должен был пить отвар из трав, есть мед, так как боялся признаться, что это все от тех резных фигур. Не знаю, почему. Может, боялся самого того, чего и сейчас боюсь? Ну, в отношении именно резных фигур. Пан ведь и сам знает, у каждого страха – свои пятки, в которые должно упасть испуганное сердце. Один страх лишает пана сна, другой, наоборот, усыпляет. Иной же... Но, вообще-то, здесь даже не о чем говорить. Нет уже тех резных фигур, нет Куждалов. Мед я всегда любил, а от отвара из трав меня аж перекашивало. Но мать стояла надо мной, – пей, пей, то для твоего же здоровья.

Пан любит травяные отвары? Так же, как и я. Но мед-то, надеюсь, пан любит? Тогда дам пану баночку в подарок. По крайней мере, пан не будет сам себе выговаривать, что зря пришел ко мне. У меня свой, не покупной. Тут, со стороны леса, может пан видел, стоят несколько ульев. Так это – мои. И с этих нескольких, если год урожайный, так меду собираю и собираю. Самому никак не съесть. Поэтому мед у меня с прошлых лет. А такой, настоявшийся мед, самый лучший. Если кто-то оказывает мне какую-то услугу и не хочет брать денег, расплачиваюсь медом. Или вот так, как сейчас, по окончании сезона, кто-то проводывает меня, так никогда не уйдет отсюда без баночки. Или кто-то в домиках празднует именины, пойду пожелать ему всего самого доброго и обязательно занесу баночку меда в подарок. А там, где дети, о них всегда помню, без какого повода. Дети должны есть мед.

Лучше всего, однако, мед пить. Как? Заливает пан утром чайную ложечку меда полу стаканом чуть теплой воды. И пусть так все и стоит до следующего утра, когда пан выжмет половинку или четверть – сколько есть – лимона, размешает и выпьет натошак, по меньшей мере, за полчаса перед завтраком. Если питье покажется холодным, в него можно долить немного горячей воды. Чистое здоровье. И для сердца, и от ревматизма. Мед для всего хорош. Не будут пана простуды мучить.

Молодым работал на стройке, и жили мы на квартире у одного пчеловода. Вот он меня и научил этому рецепту. Да только разве тогда до меда было? Если голова совсем в другую сторону повернута? Вечно на тот мед времени не хватало. Ну, а как, не приведи Господь, случится что, так водку пили. Не мед, водка тогда для всего была хороша.

И какого пан желает? Верескового? Или падевого? Падевый – хвойной, не лиственной пади, тот – аж черный и значительно лучший. Так я дам пану и такого, и такого. По стеклянной банке.

Сам-то я больше люблю гречишный. Когда-то один сеял здесь много гречи. Я ему табличку дня три тому назад нарисовал. Еще гречиха цвести не начинала, а он уже выставлял ульи в поле. Как-то я ходил к нему смотреть, как выбирает из этих ульев мед. Он в капюшоне, с сеткой на глазах, а я – так. И не поверит пан, никогда ни одна пчела меня не ужалила. Садиться садились на меня, но вот жалить... Нет, ни разу.

А хозяин не мог на то надивиться. Бывало, скажет, странный, мол, ты какой-то, парень. Одно дело я – пчеловод... Ну, да ладно. Беги, принеси какой ни есть горшок. И наливал мне этого меда – прямо из улья.

Но теперь кто бы здесь сеял гречиху? А главное – где? Видел пан? Залив. Над заливом – домики, лес. Лес и тогда был. Он единственный – и тогда был, и сейчас. Правда, тогда лес все больше рос по ту сторону залива. Нынче и по этой, где поля были, поднялся.

Лес как начнет наступать, не сдержат его. Все зарастет. И поля, и дороги. Дороги по ту сторону были. Я имею в виду по ту сторону Рутки. Рутка? Река, что текла здесь когда-то. Я же говорил пану, что она делила село. И залив. Откуда ему взяться, если б не река? Рутка – от руты, не от руды. Знает пан, что такое рута?

Это, пан, не исключение. Здесь трав почти не знают. Мяту, ромашку и то – может быть. Деревьев не знают. Дуба от бука отличить не могут. О грабе, яворе уж и не говорю. Рожь с пшеницей путают, пшеницу с ячменем. На все про все говорят «хлеб». Интересно знают ли что-нибудь про просо? Проса нынче, вижу, люди мало сеют.

Сама рута или вместе с другими травами – от любых хворей убережет. От глазных болезней, от нервов, ран, ушибов. Даже против чумы поможет. Питьем, или так – прикладывать. Если что – и приворожить ею можно. А прежде панны вили из руты венки. Говорят, они притягивали кавалеров.

Немало ее здесь росло, может отсюда Рутка?

Не знает пан, что то за река была. Небольшая, как почти все реки в селах. Текла широкой долиной. В которой – заливные, пойменные луга. Уже за ними – поля. Местами более широким руслом, местами – уже. В некоторых местах, когда долго дождей не было, ее можно было по камням перейти. Станешь в долине, на берегу, и, как солнце из-за туч выйдет, кажется, будто вся долина вместе с Руткой плывет. Правда, не раз, во время оттепелей, или как дожди зарядят – и все льет, и льет – делалась широкой, на всю долину. Тогда бы пан и не поверил, что такая грозная она, та же самая Рутка. Не только долину заливала, но и на поля выходила. Жившим ниже надо было повыше переселяться. Тогда как бы мстила Рутка людям за что-то. И плакали они от нее.

Но вода спадала и снова она становилась спокойной и дружелюбной. Текла неспешно. Иногда бросишь палку и идешь за ней вдоль берега, кто быстрее – ты или Рутка? И даже когда неспешным шагом идешь, всегда у нее выигрываешь. Вилась, кружила, а где впадала в излучины, зарастала аиром, камышом, кувшинками. А как расцветало все, так пан и представить себе того не может. Эх, послушал бы пан соловьев в мае.

Не везде река была мелкой. Где-то – да, мелкая. Но и глубокие места были. А уж одно – самое-самое. Туда ходили топить. Больше молодые, когда им родители не позволяли замуж выходить. Или жениться. Таких там больше всего топилось. Говорят, в том месте всегда топились, потому что там всегда было глубже всего. Вообще-то, топились по разным причинам. И не только молодые. Хотя и топились – не все, некоторые вешались. А Рутка, как плыла, так и плыла.

Пан не поверит, но эта река казалась мне самой большей рекой мира. И я свято верил, что все реки зовутся Рутками, а берутся они – от нашей Рутки, как от матери. Я уже в школу ходил, а все никак не мог поверить, что на свете много больших рек и каждая из них по-своему называется.

У нас была лодка. Иногда я заплывал на ней в густые заросли высоких камышей и когда все меня звали – звала мать, звал отец, я не отзывался. Лежал себе на дне и чувствовал себя так, как бы меня нигде не было. Совсем не было. И если бы пан спросил, был ли я когда счастлив, то вот, только тогда. Пан не хотел меня спрашивать? Я понимаю.

Или я выводил лодку на течение, ложился и плыл, плыл... А Рутка меня несла. Как пан думает, исчезают ли такие реки? Ну, не знаю. Порою пойду, стану над заливом и высматриваю, где теперь можно бы плыть. И скажу пану, раз удалось мне выглядеть один из ее берегов. Который? Должно быть, тот, на котором я стою.

Не скажу пану, откуда река выплывала и где заканчивала свой бег. Тогда так далеко не ходили. Страх было ходить так далеко, леса здесь тянутся и тянутся. А теперь я тоже не хожу, потому что – зачем? С той ли, с этой стороны заходить, и сейчас, здесь же – прямо у самого берега, все для пана есть. Ягоды, земляника, ежевика, грибы. Ну, не этой порой, конечно. Поздно пан приехал. Теперь разве что только клюква. Но то должен был бы пан подождать, как подморозит. Потому что больше всего ее растет на болотах. Болота отсюда

недалеко. Я бы дал пану какую крынку, чтобы он собрал себе. Когда клюква – к паштету, так пальчики оближешь. Еще – когда она с грушами. А паштет – из зайца.

Сам я не собираю, некогда. За порядком надо следить. Сейчас, по окончании сезона, кроме меня и моих собак, нет здесь никого. Время от времени приходит кто-то, чтобы посмотреть – как и что с его домиком. Хотя, по правде говоря, не нужно это. Каждый и так знает, что все в порядке. А иначе и быть не может, я же слежу. Не раз могли в этом убедиться. Но ведь и права у меня нет запретить, если кто-то хочет посмотреть – что да как. Это их домики. Только если кто приходит, так обычно в первой половине дня, до полудня. В это время – никогда. В эту пору здесь покойно. И смеркаться начинает уже намного раньше. Месяц назад я бы в это время и свет еще не включал. Буквы, даже самые маленькие, и так было хорошо видно. И без очков я рисовал. А теперь, пан видел, сумерки. И на заливе спокойно – ни одной волной его не наморщит. Может даже показаться, что вместо воды здесь твердая почва. Если так, как сегодня, при безветренной погоде, кто-то мог бы подумать, что ему посуху удастся перейти с того берега на этот.

Пан остановился в домике пана Роберта? Пан ночью приехал? Так и не слышно было. Я всю ночь не спал, слышал бы. Ночью даже самый слабый звук по заливу далеко разносится. Только под утро заснул. Рассвет уже занимался, я как раз в окно выглянул, но пана еще не было. А потом заснул, уж когда – и не знаю. Туман, наверное, пана в пути задержал? А здесь тумана не было. Осенью, правда, часто такие туманы случаются, что трудно пробиться. Едет, пан, едет, и вдруг сразу – как белая стена перед глазами.

Я тогда за границей жил и как-то раз, осенью, примерно об эту же пору, решил приехать сюда. Осенью, когда никого здесь не будет. Тоже остановился в домике пана Роберта. Пан Роберт сказал мне, где я могу найти ключ. Под террасой, на гвоздике у балки. Пан там же нашел? Ну, точно. До этого я здесь был всего один раз, в сезон, в какой-то из выходных. Мы тогда приехали с паном Робертом. А в этот раз он не смог. Но, когда я позвонил ему, сказал, что, естественно, я могу воспользоваться его домом, а вот он, к сожалению, не сможет подъехать. Он рассказал мне, где и что можно найти из необходимого, ну, и где ключ.

Смеркалось, как пересекли границу, соответственно, я рассчитывал, что уже ночью доберусь до места и до утра мне, вполне возможно, даже удастся немного поспать. Пока ехал по главной дороге, все было хорошо, ночью вызвездило, луна, видимость неплохая. Но потом я съехал на боковую дорогу, снова свернул, уже на другую, и тут начал появляться туман. Сначала он наплывал редко и кое-где, такими полосами, перегораживая время от времени дорогу. Но свет противотуманных фар еще хорошо помогал. Как на ту пору, да по таким условиям, я даже быстро ехал. Но с каждым километром эти полосы сгущались, становились более плотными. И через какое-то время туман, словно стеной, начал вырастать на дороге. Видно было только в тех местах, куда падал свет от уличных фонарей. Но как только я выезжал с деревенских улиц, то попадал в густейший туман. И с каждым разом он становился все гуще и гуще. Туман был передо мной, надо мной, с обеих сторон, сзади. Всего мира словно и не было, только туман. Я пробовал и такой, и такой свет включать, ничего не помогало. Я ведь знаю, что дальний помогает меньше всего. Как его включаешь, будто белая стена встает перед капотом. В такой ситуации нужны или фары ближнего света, или противотуманки.

Лучше всего, когда с вами едет еще кто-то, кто может приоткрыть дверь и, глядя на дорогу впереди автомобиля, помогать водителю и корректировать его действия. Но я один ехал. И ни позади меня, ни впереди не было машин, с которыми можно было бы договориться, что сначала впереди пойдет кто-то один, а потом, когда он устанет, его сменит другой. Задние красные габариты – лучший проводник в тумане. А так время от времени я даже терял уверенность, действительно ли еду вперед, а не попаду ли прямо сейчас в канаву, не ударю ли в дорожный знак или дерево. Честно скажу пану, никогда прежде не был в таком тумане. Поэтому, немного проехав, останавливался, выходил из машины по-

дышать свежим воздухом, немного размяться, сделав пару движений, и только после этого садился за руль и двигался дальше.

И вдруг вижу – по обеим сторонам дороги начинают мигать какие-то слабые странные огоньки. Что это может быть? Сначала мигание было еще редким. То здесь, то там. Но нетрудно было заметить, что «огоньки» стоят в окнах, хотя сами те окна были едва видимы. Еще меньше – сами дома, очертания которых размытым контуром еле просматривались в густом тумане. Я догадался, что проезжаю через какой-то небольшой городишко, так как «огоньков» этих прибывало, они стали встречаться чаще, а вскоре и с одной, и другой стороны дороги из них образовались светящиеся цепочки, так что складывалось впечатление, будто еду по аллее. Ехал я осторожно, иначе и нельзя было. Да какое там ехал, скорее полз! Туман передо мной все еще был плотным и густым.

Неожиданно из этого тумана прямо перед капотом автомобиля нарисовались две фигуры. Я догадался, – мужчины. На сигнал нажать я уже не успел, только втопил, что было мочи, ногу в тормоз. Мгновенно меня прошиб пот, сердце билось так, что его стук разносился по всему салону машины. Я был уверен, что они бросятся к машине, начнут стучать в окна, тянуть на себя двери, пытаюсь их открыть, а меня обзывать последними словами.

И, между прочим, они были бы в своем праве. Ну, и что из того, что шли прямо посередине дороги? И даже – нет, пан, вы представьте? – не заметили автомобиля! Им не до того было. Они ссорились. Я понял это, когда до меня донеслись их уже порядком охрипшие, но еще громкие голоса. Они махали руками, толкались. Было похоже на то, что я стану свидетелем драки в этом тумане.

Я чуть приоткрыл оконное стекло и, в надежде на то, что они услышат музыку и уступят мне дорогу, включил на полную громкость приемник, по которому как раз передавали какую-то зажигательную, ритмичную мелодию. Но они не услышали. Стояли, покачиваясь в разные стороны, и в какой-то момент, когда их одновременно качнуло во встречном направлении, вдруг взяли и заключили друг друга в сердечные объятия и начали целоваться. Они были настолько пьяны, что если бы не эти их объятия, то обязательно упали бы. В конце концов, я не выдержал и нажал на сигнал раз, другой. И тут – о чудо! – они расцепили руки и один из них пошел к одной стороне дороги, другой – к противоположной.

Я уже перекинул ногу на педаль газа, как они внезапно повернулись и снова начали обниматься. И так, обнявшись и прижавшись друг к другу, стояли, пошатываясь, словно решили не расставаться, а упасть прямо вот тут, на дороге, чтобы хорошенько проспать. Но, на мое счастье, все-таки сдвинулись с места и, взявшись за руки, пошли по самой середине дороги куда-то вперед, в этот туман. Я тоже тронулся и поехал потихоньку за ними в надежде на то, что, может, сумею их объехать, когда один из них потянет другого в свою сторону, к обочине. Но если кто-то из них начинал тянуть, то второй сразу же, в противовес, перетягивал первого на свою сторону дороги. Так они и шли – зигзагами, время от времени останавливаясь для того, чтобы, покачиваясь, обняться, потрясти или пожать друг другу руки. А вместе с ними должен был останавливаться и я.

В какой-то момент над дорогой из тумана выплыла арка. Даже не выплыла – засияла. Такие же бледные огоньки, что светились в окнах, обозначили ее от одной из обочин и цепочкой поднялись до самого верха, где над дорогой показалась освещенная огнями половина арки. Другая ее половина не светилась. Может, лампочки перегорели, а может, провод порвался. Но в той половине арки, что была освещена, ближе к середине, ярко сияли слова: «Добро пожаловать». Надпись, скорее всего, должна была быть большей, но та ее часть, что была во второй половине арки, погасла.

И вот у этой арки они остановились. Уже не обнимались, не трясли друг друга и не хлопали один другого по плечам, просто пожали руки, и у меня появилась надежда, что – наконец-то! – они разойдутся. Правда, они долго не могли разжать руки, словно раздумывали – а не пропадут ли поодиночке? Но все-таки решились, и один из них исчез в тумане по этой стороне дороги, второй – по другой.

Я вздохнул с облегчением. Но тронулся не сразу. Вышел из машины и несколько минут постоял, чтобы немного успокоиться. Прохлада тумана хорошо меня освежила. Только после этого я сел в автомобиль и потихоньку тронулся с места. Но проехал буквально несколько десятков метров – не больше! – как опять они снова выплыли из тумана прямо по самой середине дороги. Я не знал, что и делать. Остановился. Но тут один из них, видимо увидев машину, не бросая плеч товарища, за которые он крепко держался, хотя и с трудом, но повернулся в мою сторону. Я чуть приоткрыл боковое стекло и высунул из него голову:

– Добрый вечер панам. Не могли ли бы панове?..

Но договорить не успел, как они начали корчить какие-то рожи, будто успокаивая меня, что вот, сейчас освободят дорогу. И действительно, буквально через минуту тронулись и пошли вперед.

Я решил подождать. Поймал по радио какой-то концерт, послушал его немного и только после этого тронулся. У меня душа ушла в пятки, и я ехал, изо всех сил вглядываясь вперед, так как уверенности в том, что они снова не выплывут из этого тумана прямо посередине дороги, у меня не было. Пан не поверит, но я как бы уже и привязался к ним. Мне их даже стало как-то не хватать.

Вскоре огоньки закончились, и я немного прибавил скорости. Но уже через несколько километров почувствовал себя настолько уставшим, что как только увидел по левой стороне дороги освещенную надпись «Отель», то решил остановиться.

В гостинице было тихо, хозяин – сама любезность. Все отговаривал меня, зачем, мол, ехать в такой туман. В такой туман, в такой туман. Как пан будет ехать? Поспит пан, отдохнет, а тем временем и туман сойдет. У нас удобные, недорогие номера. Может, пан желает перекусить? Так мы тотчас же подогреем. Или пану пива? О, нынче пива – на любой вкус. Даже заграничное. Или пан желает чего покрепче? Номер пану сейчас уберут. У нас сегодня как раз прежние постояльцы съехали.

– А эти огоньки в окнах? Арка? – спросил я неосторожно. – Из-за тумана?

Он подозрительно посмотрел на меня.

– А откуда пан?

– Я живу за границей.

Только после этого он оттаял и уже с расположением в голосе добавил:

– Крестный ход был.

Но скажу пану, я всю ночь глаз не сомкнул. Все думал – ехать ли мне дальше или повернуть назад. А пан хорошо спал? Я, когда проснулся, а на самом деле собаки меня разбудили, и посмотрел раз-другой в окно, вас не было видно. Автомобиль – да, стоял. Вот по нему я и догадался, что кто-то приехал. И задался вопросом – а кто это может быть? Да еще и в это время – осенью. Тем более, смотрю – чужая машина. Здесь такой ни у кого нет. Что за модель? Так я и думал. У меня тоже когда-то такая была. Быстрая, как молния. Свет только на светофоре зажегся, так я – вон уже где, а другие только собираются трогаться. И чтобы сломалось или случилось что-то – никогда. Я, когда нажимал на педаль газа, так чуть ли не сам вперед прыгал. Мало кто мог обогнать меня на трассе. Мне нравилась скорость. Быстро ездить, быстро жить. Мне всегда казалось, что быстрая жизнь обязательно короче. Бояться? А чего? И, самое главное, вообще-то эту жизнь особо ценить не за что. Да, поплатил я в свое время штрафов. Раз у меня даже права отобрали. На год. Аварии? Да как без происшествий ездить? Без аварий жить нельзя. Один раз я ломал ногу. Вот здесь, в этом месте. Раз – ключицу, раз – три ребра. Сотрясение мозга было. Один раз, чтобы меня из машины достать, ее даже разрезать пришлось. А мне при этом, представьте себе, – ничего. Небольшие ушибы, царапины – вот и все. Счастливый случай? Может быть. Хотя, не знаю... Что такое счастливый случай? Только после того, как меня ревматизм догнал, я года три вообще не ездил, а потом – уже гораздо медленнее.

Какой у пана регистрационный номер? Потому что не видел, а должен записать. Я записываю каждый автомобиль, что приезжает сюда. И не только номер. Марку, модель,

цвет. Тех, у кого здесь домики, – нет. Я их с самого начала записал. И до тех пор, пока кто-то не поменяет автомобиль. Вот тогда – переписываю. А так-то записываю всех. В сезон к тем, у кого здесь домики, приезжает много друзей. Чаще всего и регистрационное свидетельство прошу показать, осматриваю автомобиль – нет ли где вмятин, не поцарапан ли он. Со знакомыми, оно ведь по-разному может быть. Вроде бы и знакомый, а потом на самом деле оказывается Бог весть кем. И на свидетелей, если не приведи Господь, что случится, не всегда можно положиться.

У десяти свидетелей и цветов будет десять. И десять моделей. И марок будет столько же, не говоря уже о номерах. Не верю я свидетелям. И когда приехал, уехал, в котором часу – это я тоже записываю. У меня для автомобилей – отдельная тетрадь. Отдельная – на домики: кто приезжал, когда, как надолго, сколько людей было. Отдельная – для других дел и случаев. Порядок требует, чтобы не все в одном было. Сначала я не догадался, что пан у пана Роберта остановился. Только когда вы занавеси на окне раздвинули. И я сразу подумал – разве то пан Роберт? Как-то не верилось мне. Так долго его здесь не было, а тут, нате – взял да и приехал! Наверное, солнце уже за полдень перевалило, когда вы из дома вышли? Пан стоял на террасе, оглядывался вокруг и вот тогда я понял – нет, то не пан Роберт. Хотя и не сразу. У вас примерно тот же рост, как у пана Роберта. Вы такой же худощавый. Ну, и шляпа частично прикрывала пану лицо. Вот когда собаки начали в дверь царапаться, чтобы их выпустили, тогда я уже точно знал, что то – не пан Роберт. Но как их одних выпустить к незнакомцу? Я и решил подождать, пока пан сам не придет ко мне. Придет и скажет – кто он, откуда приехал, как надолго.

Прежде всего, меня остановило то, что пану известно, где ключ. Кроме меня и пана Роберта никто не знает, что он висит на гвоздике под террасой, у балки. Я и подумал, что пан, по всей видимости, добрый знакомый пана Роберта, поэтому не стоит идти, выпрашивать у пана и проверять его, как любого другого, а тем более – с собаками. Наверняка пан придет, чтобы сказать мне, что с паном Робертом, где он живет и как. Я как-то пытался узнать, куда он пропал, но даже его ближайшие соседи ничего не знали. Он никому не оставил своего адреса. Хотя деньги присылает мне регулярно. Но не переводом, в конверте. И ни разу даже пары фраз не написал, только деньги в пустом конверте. А оттиск почтового штемпеля такой слабый, что никак не определить – откуда отправление. У него, должно быть, друг или знакомый на почте. Нет, это – он. Кто еще, кроме него? Зачем какому-то незнакомцу посылать мне деньги? Я – так этого не понимаю. Мог бы хоть раз появиться здесь. Посмотреть – что да как. Или, если пан даст мне адрес, так я напишу ему, что все в порядке. Дом стоит. Я присматриваю за ним. Беспокоиться не о чем.

Я за всеми слежу, и за его – тоже. И внутрь иногда заглядываю, проверить – нет ли там кого. Проветрю, пыль вытру, если вижу, что сломано где-то, – подправлю. Конечно, это не моя обязанность, но у меня есть ключи и я – слежу. Да, ключи у меня от всех домиков. Я сразу, как хозяева выедут, проверяю – дом за домом – закрыты ли двери, окна, потому что по-разному бывает. То, что замечу испорченного или сломанного, записываю. Потом, как осень пройдет, уже зимой – ремонтирую. Нет такого домика, где после окончания сезона, что-то да не было бы неисправным или сломанным. Не могу смотреть, если что-то сломается. Больно просто. Да если бы только это! Иногда захожу в домик и такое впечатление, что они все просто в панике бежали. Не выключен холодильник. А телевизор – включен. Печь горит, вода – не закрыта, кровати не застелены. Раз захожу в домик, а включенный утюг стоит на столе, накрытом одеялом, и оно уже дымит. Еще немного и весь дом запыхал бы! А потом, вполне возможно, и соседние дома, день как раз ветреный был. Вот после того утюга я и смотрю, как хозяева уезжают. Иногда они даже остатки еды в тарелках оставляют. Немытую посуду. Пустые бутылки, банки из-под пива на столе, стопки с недопитой водкой, а уж в корзинах для мусора – чего только нет. И на полу – женские прокладки, презервативы. Ну, сняли и выбросили. Наверное, частично в этом есть и моя вина, – приучил я их, что присмотрю за всем. Но не могу я иначе. Не скажу,

есть и домики, куда приятно войти. Я даже сяду там порою, послушаю. Чего послушаю? Много чего можно услышать, если захотеть, конечно.

Обычно два раза на день и, по крайней мере, раз ночью я обхожу все домики, и с этой, и с той стороны залива. С утра, солнце только встанет, а я уже проверяю во всех домиках – не выбиты ли в окнах стекла, на месте ли двери, не вскрыты ли они. Когда мне кажется что-то не так, я вхожу и вовнутрь. Как правило, первыми все чувствуют собаки. Они каждый домик облетают кругом и коротким лаем дают мне знать – все в порядке. И тут же мчатся к следующему. Если что-то не в порядке, они ждут меня и лают, лают.

И второй раз – вечером. Тогда я уже заглядываю в каждый домик и зажигаю свет. В центре, на террасе. Зажигаю, оставляю его включенным и иду к следующему. И так – домик за домиком. Зажигаю, оставляю включенным и иду дальше. До самого последнего домика. С каждым домиком становится все светлее и светлее.словно светящийся венок ложится вокруг залива. Даже зарево занимается, – как будто и залив светится, и небо над ним, и лес. А собаки – пан не представляет! – так этому радуются. Сам бы никогда не подумал, что собаки умеют так радоваться. Обычно, они весь день спокойны, сосредоточены, без надобности не лают. Чтобы когда-нибудь выли, как другие собаки... Нет, не бывает такого. Даже на луну не воют. Как-то умер тут, в одном из домиков кто-то, так тоже не выли. Разве вообразят себе чего, так и то – не думаю, чтобы что-то произошло. О, пан, наверное, не поверил бы, если ему сказать, что у собак есть воображение. Может, когда весь этот свет загорается, они представляют, что это и есть их рай? Собаки ведь не должны представлять себе рай, как цветущий сад, в котором все есть. Им достаточно и того, что там не будет человека. А я, пан спрашивает? Я, пожалуй, там буду. Кто-то же должен следить за их раем.

Потом мы возвращаемся от последнего домика и по порядку везде гасим свет. Что пана так удивило? Этот собачий рай? Так я скажу пану, – как по мне, так человек для собак – наихудшее создание. Я об этом не без причины говорю.

Этого, Рекса, я нашел в лесу. Он был привязан к дереву стальной леской. Я бы точно не заметил его, так как высматривал землянику под ногами, но вдруг – слышу, где-то кто-то всхлипывает, стонет, как ребенок. Мне бы и в голову не пришло, что это может быть собака. Серна, например, когда умирает в силке, так пану сразу понятно, что то – серна. Не раз я встречал таких умирающих серн. А здесь – словно ребенок. Я остановился, затаил дыхание. Может, чей-то ребенок в лесу потерялся? Но он должен быть совсем маленьким, потому что только малыши так стонут. Но ведь такое малое не могло само прийти в лес.

Стихло. Я оглядываюсь, нигде ничего не вижу. Опять начинаю высматривать землянику. Но через какую минуту снова слышу эти стоны. Слабенькие, но слышу. Слух у меня хороший. Учил меня как-то один кладовщик играть на саксофоне, так всегда повторял, что уметь ты еще умеешь немного, но слух у тебя – хороший. Только работай.

Я уже стал подумывать, – а у кого здесь, в домиках, мог бы быть такой, совсем недавно родившийся ребенок. Прямо скажу пану – меня уже ничего не удивляет, даже если бы кто-то и вынес ребенка в лес. Начал я осматривать куст за кустом, обходя ближайшие деревья. И вдруг вижу, под буком лежит этот Рекс. Скорее всего, учуял меня, и, несмотря на то, что, можно сказать, почти сдох, стонал. Потому, как должен пан знать, обоняние у собаки умирает самым последним. Когда меня увидел, попробовал подняться с того места, где лежал. Но не смог. И опять заскулил, как ребенок.

Получится ли у тебя что-то, нет – начал я рассуждать. Нет, так принесу лопату и закопаю. Будет еще одна могила в лесу. И это уже не имеет никакого значения. Для всех делаю таблички, нарисую и тебе. Вот тогда я назвал его Рексом. «Здесь лежит Рекс». Пусть упокоится с Богом. Нет, креста тебе я не поставлю, хотя он и стоит твоих мук. А он опять попробовал подняться. Когтями, хоть и лежит, дерет перед собой и смотрит на меня, словно умоляет, чтобы не оставлял.

Ну, тогда взял я его под живот и поставил на ноги. Думал, – устоит, может, что-то и будет с него. Хотя в то, что устоит – не верил. И что на то пану сказать? Устоял.

Стоит. Кожа да кости. Паразитов на нем... Шея от стальной лески вся в крови и в личинках – червях. Глаза – тоже все червями обнесены. Сукровица течет с кровавой пеной. Поначалу дрожал, шатался, но устоял. И тогда я сказал: «Иди, попробуем выжить».

Снял ему эту стальную леску с шеи и начал уговаривать, чтобы сделал он первый шаг, а там уж и пойдешь. Первый шаг, он наиважнейший. Шаг-то он сделал, но – свалился. И что тут делать? Взял я его на руки и вот так пошел с ним. Но руки скоро слабеть начали. Пан и сам видит – псинка-то не маленькая. Хотя тогда и половины от того, что нынче, не было. И пожалел я, что не взял перочинного ножа. Вырезал бы несколько палок, сделал носилки и как-то перетащил бы его. На счастье, был я в пиджаке. Снял его, рубашку, связал их между собой, да еще укрепил связанное той стальной леской, что была как раз под рукой, и уложил пса на все это. Потом сел, кое-как поднял его себе на спину и с трудом (с большим трудом!), но встал-таки. И принес его.

Я потом расспрашивал в домиках, не пропала ли у кого-то собака. Нет, ни у кого не пропала. Я откормил его, вылечил, и вот, видит пан, какая псина. Только удивляет меня, что из одного домика потом выехали и на следующий сезон уже не приезжали, а со временем и вовсе продали домик. Уже пару лет, как домик принадлежит другому хозяину, но как только мы идем в обход, Рекс всегда у этого домика, на террасе, ложится у дверей. И оттуда его всегда нужно забирать, потому что новый владелец не понимает, отчего это собака разлеглась у его дверей.

А вот этого, Лапшу, опять же, я спас, когда его собирались топить. Однажды вечером, примерно так же, как и нынче, поздней осенью, уже после окончания сезона, слушал музыку. А когда я слушаю музыку, обычно свет не зажигаю. Вдруг слышу, будто кто-то на том берегу подъехал на автомобиле. Пан знает, музыку я могу слушать, но при этом и все остальное хорошо слышу. Вышел из дома, но ни одного огонька так и не увидел. Уже подумал, что ослышался. Но через мгновение долетел до меня чуть слышный скрежет, как бы кто-то багажник отомкнул. Кто бы то мог быть в такое время? И так тихонечко, без света? Пойду, гляну. И также тихонечко, крадучись, пошел я, чтобы меня не услышали и не уехали, не ровен час.

Я еще не дошел до него, а уже узнал. Да это же вон из тех домиков.

– Что пан здесь делает? – спрашиваю.

– Э-ээ, ничего, – попробовал он меня обмануть. – Приехал забрать кое-что из домика, не хотел пана будить. Света у пана нет, так я был уверен, что он спит.

– Нет, я не спал, – а сам слышу, что-то попискивает где-то. Оглядываюсь, и вижу в темноте – мешок как бы. А в нем что-то, видно, двигается.

– Что за мешок? – спрашиваю.

– Камней немного насобирал, – говорит. – У нас сад у дома. А цветочные клумбы, как камнями их обложишь, очень красиво выглядят. Вот жена меня и просила, чтобы при такой возможности...

– Камни, – говорю, – а что, они и двигаются, и попискивают?

Действительно, были в мешке и камни, но почему они двигаются, попискивают, вот этого мне уже не сумел объяснить. В конце сломался:

– Пусть пан простит меня. То собачка, щеночек. Утопить я его приехал. Купил для внука. Уж так он хотел собачку. Но... Уже не хочет.

С тех пор, как приезжает, всегда что-то привозит и для этих моих собак. Сухой корм, в банках, с говядиной, индюком, лососем. И не только в сезон, но и после него часто зимой приезжает, привозит. Я ему говорю, чтобы не привозил, есть у меня. Только испортит мне собак такими деликатесами. А как-то, вот здесь, он и говорит мне:

– Спас пан мою душу.

Удивило меня – собаку хотел утопить, а говорит о душе. Тем более, как по мне, душа сегодня – такой же товар, как все остальное. Можно ее купить, продать... И цены не кусаются. А может, так завсегда было. Как-то прочитал в одной книге, что уже много веков тому назад кто-то сказал, что человеческая душа, как кусок хлеба. Пан думает, что это

хлеб тогда был таким дорогим? Тогда нечему удивляться. Что есть, то есть. Извиняюсь, что спрашиваю, а пан разве не знает цену, сколько сегодня могла бы стоить человеческая душа? Принимая во внимание, ну вот – хотя бы этих моих собак. Или те могилы, в лесу.

Пан не знает о могилах в лесу? А я был уверен, что он пришел посмотреть на эти могилы. Подумал даже, откуда пан знает об этих могилах. Разве что пан Роберт ему сказал? Позволил пану остановиться в своем домике, сказал, где ключ, значит, мог и о могилах обмолвиться? Поэтому я и не хотел пана беспокоить. Всегда неприятно идти кого-то спрашивать – кто есть, зачем приехал, как надолго. Ведь я и документы должен проверить, не каждому и не всегда можно поверить на слово. Или даже потребовать, чтобы мне показали разрешение, что можно остановиться в чьем-то домике, тем более, у того, кого раньше здесь никогда не видел. Но поскольку пан Роберт...

Сказал бы мне пан, как там, по крайней мере, его здоровье. Пан не знает пана Роберта? Э-э, нет, наверное, пан не хочет в этом признаться. Должно быть, пан Роберт запретил пану. А я даже думал, что он прислал пана, чтобы тот мне сказал, что у него. Может, он заболел. И не смог сам приехать. Поэтому я так и думал, что пан поспит, а потом ко мне придет. А пан пошел в лес. Я сначала подумал, может, пан пошел пройтись, отдохнуть с дороги, немного подышать лесным воздухом, но скоро вернется. Выглянул в окно раз, другой, вышел на улицу, постоял, но пан, однако, все не возвращался и не возвращался.

Начало смеркаться, залив, домики, лес – все затянуло сумерками, вскорости стало темно, и как только пан будет возвращаться? Это меня беспокоило. Пан здесь первый раз, леса не знает, не ровен час, еще и заблудится. Надо будет идти с собаками, искать пана. На всякий случай зажег свет, может, хоть он как-то выведет пана. Пан видел? Ну, само собой. Здесь нетрудно заблудиться, тем более в эту пору, осенью. Осенью в этом нет ничего странного.

Я и сам здесь чуть было не заблудился. Да, именно тогда, когда меня по дороге туман задержал. Место глухое, безлюдное, а я как раз пошел в лес посмотреть, где те могилы. Для этого, собственно, и приехал тогда. Точно не знал, где они, только то, что в лесу. Пан Роберт, рассказывая мне о тех могилах, махнул рукой в сторону леса – там, мол. А лес большой, заросший, вот и ищи в нем. Если бы еще в одном месте, а то они разбросаны – тут, там. Почти целый день ходил, даже не помню, сколько их тогда насчитал. И не заметил, как начало темнеть. Обычно же, как пан и сам знает, сразу, мгновенно не темнеет. Человеку еще долго кажется, что как бы и видно. А раз видно... Лес знаю, поэтому как-нибудь и в потемках вернусь. Но, пан может себе представить, когда я все-таки вышел из лесу к заливу, то не мог понять, где же я нахожусь. На том, или на этом берегу. Помню, что Рутка с той в эту сторону течет, а тогда мне даже показалось, что нет, наоборот. Силуэты домиков проступали в темноте, но который из них домик пана Роберта, для меня было совершенно непонятно. И так стоял и стоял, но никак не мог определиться – где же я. В какой-то момент даже потерял уверенность, я ли, собственно, стою там, где стою.

И вдруг увидел вдали какой-то огонек. Поначалу его тусклый свет был едва заметен. Я подумал, что кто-то там, видимо, тоже идет и подсвечивает себе фонариком. Только как ему крикнуть, услышит ли меня на таком расстоянии, скоро и сам не буду знать, где я есть и есть ли вообще. А между тем огонек стал более ярким, неподвижным и довольно сильно приблизился ко мне. Как бы я стоял по эту сторону Рутки, а он светил мне с той. И тогда, пан не поверит, мне подумалось, что это у нас до сих пор лущат фасоль. И пусть пан не удивляется, действительно, лущили.

Лущение фасоли всегда начиналось с освещения. Мать уже помыла посуду после обеда, подмела и к тому времени, еще до сумерек, садилась с вышивкой в руках между кроватью и буфетом. Бабуля обычно дремала. Дедушка выходил во двор, убедиться – все ли так, как и было. Каждый ждал, когда начнет смеркаться, и надо будет приниматься за лущение фасоли. Отец сидел на лавке у окна, курил одну за другой папиросы и глядел в окно, как будто выглядывал кого-то. Уже начинало смеркаться, а он все глядел и глядел в

окно. Могло показаться, что он выглядывал как раз сумерки. Разве можно узнать, на что кто-то смотрит, чего выглядывает. Сидит, смотрит на то или на это, а он, может, в себя вглядывается. О, и в самом себе есть у человека во что вглядываться. А может, кто знает, и в сумерки вглядывался. Пан говорит, чего такого интересного может быть в сумерках? Скажу пану, когда и сам не раз глядел на то, как начинает смеркаться, мне казалось, что это – те же самые сумерки, в которые когда-то всматривался отец. А этого – разве мало? Время от времени, как бы в продолжение того своего выглядывания в окно, отец говорил:

– О, день уже короткий. Короткий. А все одно человек и при нем должен жить. Еще не все дела окончил, а тут уже и ночь. И зачем только эта ночь? Зачем? – И гася очередную папиросу, бросал в сторону матери: «Свети».

Мать отрывалась от вышивания. Снимала лампу с гвоздика на стене. Проверяла, хватит ли в лампе керосина на все лушение. Иногда спрашивала отца:

– Может, долить?

На что отец обычно отвечал:

– Долей.

И не забывал ей напомнить, чтобы фитиль подрезала, потому как подгорел, наверное, стекло вычистила, а то вчера оно было покрыто слоем копоти.

Но это было уже лишним. Мать и так бы все сделала. Подготовка лампы для нее – как венец дня, его достойное завершение. Может, даже что-то типа поклонения, благодарения за еще один прожитый день. Поэтому она вкладывала в подготовку все свое старание, словно от этого старания зависело – проживет ли она и следующий. А когда касалась спичкой фитиля, рука ее дрожала, лицо становилось сосредоточенным и как бы застывало. Уже и стекло вставит в лампу, а все смотрит, – занялся ли в ней огонь. И когда начинала осторожно регулировать высоту фитиля, словно недоверие появлялось в ее подсвеченных за проволочными очками глазах, – как это от ее руки получилось такое чудо света.

Пан не поверит, но я не мог дожидаться той минуты, когда мать зажжет лампу. Едва сумерки начинали сгущаться за окнами, просил:

– Зажги, мама, зажги.

Не могу себе этого объяснить, но мне очень хотелось, чтобы во всем селе самый первый свет загорался у нас в окне. Отец ее удерживал, не пора, мол, вон, еще все видно. Ему вторили и дед с бабушкой – керосина, мол, жалко. Дядя Ян вставал и шел пить воду, что могло значить, будто ему свет, в общем-то, и не нужен. А в глазах матери за проволочными очками появлялась улыбка не то снисхождения, не то понимания этих моих настойчивых просьб, чтобы зажгла.

Когда она подходила за лампой к гвоздю на стене, я выскакивал из дома, бежал на берег Рутки и там ждал того чуда света, что сойдет в наше окно с руки матери. Первый свет всего села в нашем окне казался единственным на всем белом свете. Первый свет, я скажу пану, то – совсем другое, не то, когда уже светится и здесь, и там, во всех окнах и во всех домах. Яркость, сам блеск у него другой и не суть важно, идет он от керосиновой лампы, или от лампочки. Тусклый, как из керосиновой лампы, а впечатление такое, что не только светит. Живет. Потому что, как по мне, есть свет, что живет, и свет, что умер. Такой, что только светит, и такой, который помнят. Который отталкивают и приглашают. На который смотрят и не узнают. Есть свет, которому все едино кому светить, а есть, который знает – кому. Иные светят, как бы и ярче всех, а их – не видят. А есть такие, что едва тлеют, а видят их до самого конца жизни. Потому что они – пробьются через любые сумерки.

Самая непроглядная темень не устоит перед ним. Для него нет границ, времени, пространства. Он хранит самую давнюю память, как ту, что растрянжирена нами, так и ту, которой человек лишен, типа, как того же самого наследства. Не знаю, согласится ли пан со мной, но как по мне, наша память – тот же свет, что летит к нам от давно погасшей звезды. Или даже пусть хотя бы от керосиновой лампы. С той лишь разницей, что он не всегда может долететь до нас при нашей жизни. Все зависит от того, с какого расстояния летит и на каком расстоянии мы от него. Потому что это разные расстояния. А вообще,

может даже так случиться, что все является памятью. Весь этот наш мир, с тех пор, как он возник. И мы оба – здесь и сейчас, эти собаки. Чья память? Нет, этого я не знаю.

В любом случае, когда я видел этот свет, уже знал, где нахожусь. Тем более, когда у нас лущили фасоль, мать подвертывала лампу на самый максимум. Никогда при этом не забывая спросить отца, – сделать ли пламя посильнее. Хотя знала, что он скажет:

– Сделай поярче. Нам бы и этого хватило, но для твоих глаз надо посильнее.

Потом расстилала полотнище на полу, ставила посередине его табурет, а уже на этот табурет – лампу, и отец выходил за очередной охапкой фасоли.

Так что когда я увидел, что свет стал ярче и замер, понял, – это мать поставила лампу на табурет, а отец вышел за фасолью. Только на минутку я остановился перед дверями, потому что не знал, что сказать, когда войду. После стольких лет, когда никто тебя уже не ждет, – что сказать? И зачем я пришел? И так я бился с мыслями, войти, не войти и что сказать, когда переступлю порог? А переступить порог, пан сам знает, труднее всего внутри себя. В конце концов, я подумал, что лучше всего, если войду и спрошу, нет ли у них фасоли на продажу.

Они сидели в круге света этой керосиновой лампы, отец, мать, дед, бабуля, обе сестры, Ягода, Леонка, и дядя Ян был еще жив. Он один встал, когда я вошел, и напился воды. Пил долго, как перед смертью. А так все застыли со стручками фасоли в руках. Я стоял за кругом света этой лампы, у дверей, а они сидели в таком светлом, освещенном лампой пятне, так что я их хорошо видел. Но ни на одном лице так и не появилась улыбка, удивление или хотя бы какая-то гримаса. Смотрели на меня, но глаза их – словно умерли, только не нашлось, кому закрыть им веки. Только стручки в их руках как бы говорили, что они живые. Сидят, фасоль лущат.

Не узнали они меня.

А много пан хотел той фасоли? Столько-то, может, и есть у меня. Только что – не лущеная. Но если бы пан мне помог, мы бы ее вылущили. Что, пан никогда не лущил? Ну, это не так уж и сложно. Я покажу. Уже после нескольких стручков пан и сам будет уметь. Пойду, принесу.

2

Пан – сам, по собственной воле, или кто его прислал? Ну, не знаю, кто бы то мог быть. Я так думал, пан Роберт. Но пан отказывается, говорит, не знает пана Роберта. Меня только удивляет, откуда в таком случае пан знал, где ключ от его домика.

Нет, не так. Пусть пан сюда, на мои руки, посмотрит. Говорю же, в левой руке пан держит стручок, не плашмя, вот так – хорошо, а правой, большим и указательным пальцами – раскалывает. Потом пан углубляет большой палец в образовавшуюся расщелину и проводит им, от начала до конца стручка. Видит, пан, все бобы и выскочили из него. Пусть теперь пан сам попробует.

Сейчас, я найду пану стручки получше. Пожалуйста, вот ровнехонький и хорошо высушенный. Так, большим пальцем. И что? Видит пан, какое это не искусство. Со следующим стручком у пана уже лучше пойдет. И с каждым следующим, каждый раз все лучше и лучше. Пусть только пан большой палец прямо держит, ногтем вперед.

Большой палец – важнейший при лущении. Как молоток при забивании гвоздей или клещи, когда, наоборот, пан хочет тот гвоздь вытащить. Дед не раз повторял, когда мы фасоль лущили, что большой палец, не иначе, как Божий палец. Большой палец, только левой руки, важен и при игре на саксофоне, он ведь обслуживает октавный клапан.

Конечно, лущили и мы, дети. С детства. Еще горшок за собою не выносили, а нас уже учили фасоль лущить. Ягodu обычно сажали рядом с бабушкой, Леонку – с матерью, а меня, самого маленького, посередине, между матерью и бабушкой. Если с самыми сухими стручками у нас не получалось, так мать или бабушка брали наши руки в свои и рас-

крывали стручок нашими пальцами и нашими большими пальцами вылущивали из него бобы. Так получалось, будто это мы сами.

Признаюсь пану, ребенком я ненавидел лушение фасоли. Да и сестры, хоть и старше меня, а так же точно ненавидели. Уклонялись мы от лушения, как умели. Сестры чаще всего жаловались, что живот или голова болит. Ну, а я разное придумывал. Как-то порезал себе стеклом большой палец. А когда мы уже начали в школу ходить, – сначала Ягода, за ней Леонка, а потом уже и я – так уроками отговаривались. Мол, задано у нас на завтра, урок надо выучить. А если будем лущить, так не выучим. У матери на учебу сердце сразу отходило, становилось мягким. Идите, мол, учите, мы и сами как-нибудь справимся. Бабушка, как речь заходила об учебе, так сразу ссылалась на Бога, мол, как Бог не даст, то и наука не поможет. Дядя Ян обычно вставал и пил воду, так что трудно было сказать – он за учебу, или за лушение фасоли. Зато отец сразу поднимал лушение фасоли в ранг науки:

– О, еще какая наука. Наука наук. Не то, что счет там, или польский. Наука на всю жизнь. Счет или польский и так у них из голов выветрятся. И не счет, не польский им будут нужны, когда сами, одни останутся. Не счет, не польский.

Дедушка обычно ссылался на войну, он вообще во всем любил ссылаться на войну. Как-то рассказал, что давно, очень давно, еще дедушка его рассказывал, была война, а они сидели, фасоль лущили. И тут – грохот в двери: «Открывать!» Солдаты. Глаза кровью налиты. Лица осатанелые. Было бы что другое, так точно – всех бы насмерть порубали. Но увидели, что тут фасоль лущат – отставили винтовки, отцепили сабли, сказали, чтобы и им дали табуреты, сели и начали вместе с ними лущить.

А что до пана Роберта, не могу сказать, что его хорошо знал. Как-то не было у нас с ним особой доверительности по отношению друг к другу. Невзирая на годы знакомства, мы так и не перешли на «ты». У него в городе был магазин с сувенирами... Какими? Не скажу за то пану, я у него в магазине не был. Но могу сказать, он смеялся в письмах ко мне с тех сувениров. Писал, что никогда сам не купил бы чего-то из того, что продает. И что если такие сувениры для того, чтобы помнить, так лучше и не помнить.

Я с ним познакомился за границей. Однажды вечером в заведение, где я играл, вошла группа посетителей. Женщины, мужчины. Был понедельник, в понедельник обычно не все столики заняты. В другие дни столик нужно было заказывать. Но играть мы играли каждый вечер, даже если хотя бы за одним столиком кто-то сидел.

Они заняли два столика рядом с подиумом для оркестра. Я может, и не обратил бы на них внимания, но услышал, что говорят по-польски. Вели себя свободно, как будто хотели, чтобы на них обратили внимание. Громко перебрасывались словами от столика к столику, из чего я понял, что они на какой-то автобусной экскурсии. Долго просматривали меню и подробно вслух обсуждали цены, при более дорогих блюдах выкрикивая, посмотрите, сколько это стоит! Сейчас, я пересчитаю на наши. Господи Иисусе! У нас бы месяц на это можно жить. Тем более, если питаться в молочном баре¹. Ну, быть за рубежом, в таком заведении. Потом будет что рассказать. Не только об одних замках, соборах, музеях, видах. Давайте, закажем самое дорогое. А как окажется не вкусно? Будет, будет вкусно. За такую цену должно. И, пожалуй, водки. Зачем? У нас – своя. Ну, хоть для начала, по стопочке. У нас ведь должны быть на столике стопочки. Так у нас и стопочки – свои. А если кто-то заметит? Как заметит? Водка, она везде – прозрачная.

Подозвали кельнера и каждый, по очереди, стал показывать пальцем в меню, что заказывает. И все самое дорогое, так что кельнер и от половины тех цен чуть ли не в пол им

¹ Молочный бар — разновидность ресторана быстрого питания в Польше, который распространился в период после Первой мировой войны и получил дальнейшее распространение после Второй. Молочные бары работали по принципу современных столовых, но опирались на блюда традиционной кухни. Бар называется «молочный», потому что в меню присутствует большое количество блюд из молока, а также каши, блюда из яиц (омлеты) и муки (пирог), реже из мяса. (Здесь и далее – примечания переводчика).

кланялся. Была какая-то горячность в этом настойчивом желании самых дорогих блюд и, вместе с тем, что-то обезоруживающее. Но я не собирался подходить к ним.

Я избегал таких встреч.

Наступил перерыв. Перерыв закончился, и мы уже должны были начать играть, и тут от одного из тех столиков поднялся, как потом выяснилось, пан Роберт. Он подошел к оркестру и начал говорить на какой-то мешанине из слов, но никто его не понимал. Я колебался, открыться или нет. Он хотел заказать танго и спрашивал, сколько бы это стоило, если выбор музыки – по его желанию. «Танго» поняли, «сколько бы это стоило» – нет. И хочешь не хочешь, я отозвался, сказал, что мы сыграем ему танго бесплатно. Ничего это ему не будет стоить.

– Пан говорит по-польски? – И сразу протянул мне руку. – Роберт.

Но мундштук саксофона уже был у меня во рту – и я не ответил ему. Мы начали играть заказанное им танго. А он подошел к одному, к другому столику и, показывая на меня, что-то там говорил. От обоих столиков начали смотреть на меня улыбающиеся лица. Он пригласил одну из женщин на танец. Но не повел ее на середину зала, они танцевали как можно ближе к оркестру, будто не хотели упускать меня из виду. И когда он, как это и положено в танго, прижимал партнершу к себе, то раз за разом улыбался мне из-за ее головы так, словно мы друг друга хорошо знали. А я злой на себя был, уже знал, что не отпустит он меня так просто.

Так оно все и вышло. В следующий перерыв он попросил меня к своему столику, хоть на минуту, мол, перекинуться парой слов с соотечественниками. Но ни на один тост за такую счастливую встречу я так и не дал себя уговорить. Но даже несмотря на это, меня так начали засыпать от обоих столиков вопросами, что я даже пожалел, что открылся, когда он заказывал это танго. Постоянно ли здесь пан? Давно ли? А как пан здесь оказался? И как пану удалось получить место в оркестре этого заведения? Сразу или пан сначала должен был тарелки мыть? Тогда у пана, наверное, были знакомства. Все начинают с мытья тарелок. И то – в лучшем случае. Счастье, если кому-то потом удастся заменить официанта. Но то уже – Хо! Хо! Эх, и жить же здесь, наверное. Такое заведение. Каждый день – дансинги. А платят как за работу, не то что... Кто-то меня даже спросил:

– Если начистоту, пан – политический? Сбежал?

– Нет, – я отрицательно покачал головой.

– Ну, тогда уж я знаю! Тогда я уж знаю! – какая-то из женщин как будто открыла для себя ту причину, по которой я здесь оказался. – Пан, наверное, из-за женщины приехал. И что? И что? – все мало не кинулись на меня, что я скажу.

От другого столика повернулась женщина, которая до сих пор ни о чем меня не спрашивала, и вздохнула:

– Ах, на что только способна любовь.

– Любовь, любовь. Какая к черту любовь, – обрушился на нее пан Роберт. – Какая там сегодня любовь. Постель и ничего больше.

– Не говори так, – возразила она. – Любовь – самое важное в этой жизни.

На мое счастье, от оркестра подали знак, что все, конец перерыва. Но на этом дело не закончилось. Можно сказать, только началось. Через несколько недель на адрес заведения пришла открытка от пана Роберта, мол, он меня благодарит за этот незабываемый вечер, рад, что познакомился со мной и что вскоре напишет мне письмо. Безо всякой задней мысли и я отписался ему открыткой, что и для меня это тоже был приятный вечер, и я также рад знакомству. Нельзя, однако, быть слишком вежливым, скажу я пану. Никогда не знаешь, не поставит ли человек ловушку на самого себя самой обычной вежливостью. Только он своей открыткой словно попал в какое-то мое незащищенное место. До этого – никогда и ни от кого не получал я открыток.

Через некоторое время пришло и это, обещанное им письмо. Большое, сердечное. Он приглашал меня, как будет у меня отпуск, к себе. Писал, что у него дачный домик у какого-то залива. Вокруг леса. Полная глушь, тишина, спокойствие, одним словом, прекрас-

нейшие места. Даже если это правда, что какая-то женщина, о которой тогда мы говорили, бросила меня, то здесь я о ней забуду. Потому что здесь обо всем можно забыть. Человек снова становится частью природы, без каких-либо обязательств, без памяти о прошлом. В конечном счете, если я того захочу, так женщин и здесь – огромное количество, так что он для меня подберет что-то соответствующее, чтобы я от той смог утешиться. Некоторые из них приезжают на субботу, воскресенье, развеяться. Или в отпуск. Некоторые проводят здесь весь сезон, так что даже не нужно сильно стараться, они прямо сами в руки идут. Тем более, тут такой пан – из-за границы.

А в следующем письме, которое пришло почти сразу же за первым, и было еще больше, приглашал меня, чтобы, по крайней мере, приехал по грибы. Он ожидает их обильного урожая. Есть где сушить, в домике – аккумуляторный обогреватель. Потому как, наверное, я люблю собирать грибы, кто же не любит. Он – так обожает. Помимо женщин, мало что его так возбуждает, как сбор грибов. Самая настоящая черная зависть его с головой накрывает, если кто-то найдет белый гриб, а он ничего или только масленок. Тогда он этому кому-то желает, чтобы его гриб – ну, по крайней мере – оказался хотя бы червивым. Можно ли еще глубже понять его натуру? Эх, человек, человек, страшно подумать. Но и отдыхает он лучше всего, когда грибы собирает. Когда собирает – ни о чем не думает, ничего не помнит, весь – само внимание, всеми силами высматривает эти грибы. Можно даже сказать, в это время весь его мир сжимается до этого гриба. Поэтому если хочет по-настоящему отдохнуть, так даже лучше, когда грибов мало. Он, когда хочет отдохнуть, идет в лес, хоть бы в нем грибов и совсем не было. С корзиной, с ножиком и высматривает.

Мне доставило бы большую радость, если бы нам удалось встретиться. Мне пан понравился. Уже тем вечером я почувствовал, что мы могли бы стать друзьями. Я ценю людей, о которых точно могу сказать, что они чем-то отличаются ото всех остальных и не каждому встречному раскроют свою душу. Сердечно приглашаю. В домике – все удобства. Холодильник, радио, телевизор. Ванна с душем, бойлер, достаточно его включить и уже буквально через минуту пойдет теплая вода. Наверху две спальни, так что мы не будем мешать друг другу. Если пан пожелает приехать с кем-то, я могу спать внизу, на диване. Или возьму себе отпуск в другое время, а приезжать буду только на субботу, воскресенье. У меня есть лодка, на которой мы могли бы поплавать. А если пан захочет на байдарке, так можем одолжить ее у соседа. Даже вместе с соседкой. Она женщина приятная и гребет неплохо. Он какой-то директор, но после двух инфарктов все время сидит в домике, мол, солнце ему вредит. Не удивительно, что она скучает. А такие, скучающие, – самые охочие. Я обязательно должен приехать. Пусть я напишу ему, когда.

Я ответил ему, что благодарю за приглашение, но пока не могу. Как он знает, я играю в оркестре и от себя не завишу. А в таком заведении у оркестрантов редко когда длинные отпуска. Только если заведение обновляет интерьер или меняет оборудование. Я думал, это отобьет у него охоту.

Но через какое-то время он снова прислал письмо. И – то же самое. Я приглашаю и когда. На что я ему отправил открытку с пейзажем, мол, благодарю, с уважением, с самыми добрыми мыслями, но пока отложим все это до того, как у меня будет посвободнее. Но отговориться не удалось. Он присылал письмо за письмом и в каждом все так же приглашал меня. В одном из писем сообщил мне свой телефон и попросил у меня мой, мол, охотно бы позванивал, хоть изредка. Отказать, вроде как, и нельзя было, но я специально обратил его внимание, что меня трудно застать дома. До полудня репетиции, по вечерам я играю, а жизнь требует и времени, и сил, он и сам об этом хорошо знает. Он позвонил, как потом оказалось, в тот же день, как получил мое письмо:

– Звоню и звоню с самого ранья. Действительно, пана трудно застать. Но разговор – это разговор. Письмо все-таки не то. Где ему сравниться с живым голосом. Я слышу пана, и у меня впечатление, как будто мы опять встретились. Или я уже решил, когда приеду?

И так длилось годами. Как мог, я оттягивал ответы на его письма, открытки. Извинялся, что мешает то или это, он же понимает. Понимал, конечно. Но в следующем письме еще с большим жаром приглашал меня. В каком-то написал, что поменял в домике телевизор на цветной, какой марки, сколько дюймов экран по диагонали. В другом, что опять что-то поменял. И каждый раз находил более яркие краски, чтобы убедить меня. А я все больше и больше чувствовал недоверие к нему. Честно скажу пану, я даже начал его бояться, подозревая в чем-то, хотя и не знал, в чем конкретно. Но был уверен, – втягивает он меня во что-то. Вот только во что? Или может, мне это только казалось, потому что недоверие к людям было моей крепостной стеной, которую я возвел вокруг себя.

С каждым письмом он становился более сердечным, лиричным и настолько открытым по отношению к окружающему его миру, что меня это ужасало. В одном из писем написал, мол, пан не представляет себе, как здесь от лесов пахнет смолой, особенно по утрам. Просто дышать, и то – приятно. В заливчике даже раки есть, а это – лучший показатель, какая вода чистая. Серны настолько доверчивы к людям, что приходят и пасутся между домиками. Даже дают погладить себя.

Как-то раз написал, что сова села у него на окно. Открыл окно на ночь, так как было душно. Просыпается, а на фрамуге сидит какая-то птица. Подумал, что это снится ему. Встал, осветил фонарем ей в глаза, так это – два алмаза, говорю пану, два алмаза. В другой раз отдыхал на террасе, так белка к нему подошла. Стала на задние лапки и так они смотрели друг на друга.

Не мог себе простить, что у него не было орешков. Только здесь я бы мог увидеть, как выглядит восход солнца, как закат. Совсем не так, как там, у меня, в большом городе. Может, такого уже нигде нет. Если бы у него здесь не было домика, так и он бы, навряд ли знал, какой восход, какой закат и что человек уже безвозвратно потерял. Что можно увидеть в городах? Что видно из его магазина сувениров?

Естественно, из всех его писем, к тому же в течение стольких лет, я мог бы легко догадаться, где это место, но я даже мысли не допускал, что именно здесь. К счастью, через какое-то время он стал писать реже, письма становились все более и более короткими, меня он уже не приглашал так настойчиво, как прежде, я здраво рассудил, что наше случайное знакомство вскоре сойдет на нет. Тем более, у меня и повода не было подумать, что это – здесь. Было, было, да прошло, как это сплошь и рядом случается. А если и была в том с его стороны какая-то игра, так, может, понял в конце концов, что не нашел во мне товарища. Уже одни открытки, только открытки кружили между нами исключительно с приветствиями и пожеланиями. Уже изредка и то, меленьким почерком, где-то с краю, он дописывал, мол, верит, что я когда-то приеду. Или надеюсь, что пан когда-то приедет. Или я прошу подумать, время бежит, а неосуществленных планов все прибывает. Вскоре и открытки перестали приходить. Но больше меня беспокоило, что и телефонная связь прервалась.

Я уже стал думать, не случилось ли у него чего. Может, хоть позвонить ему? Но на это у меня не хватало мужества. Зато, как только у меня начинал звонить телефон, я брал трубку с надеждой, может это он. Раньше у меня не было особого желания отвечать на его письма и открытки, с трудом я брался за это дело, а теперь, как только начинал звонить телефон, мне хотелось, чтобы это был он. Разными вариантами пробовал я объяснить себе, в чем может быть причина его молчания. Невзирая на то, что я о нем почти ничего не знал. При целой куче его писем никогда никаких откровений, кроме того, что у него этот домик у самого залива в лесу и магазин сувениров в городе. Словно он определил себе узкие границы, о чем может мне написать. В конечном итоге, примерно так же, как и я. Да, но ведь я был как бы принуждаемой стороной нашего знакомства.

Минул год, за ним – следующий. И неожиданно от него пришло письмо, опять длинное, полное сердечных откровений и тех же самых искушений, как и в прежние годы. Пан даже не представляет, какой этот год грибной. Боровики, подосиновики, грузди, маслята, рыжики, лисички, чего только пан пожелает. Лисички с маслицем, так пальчики обли-

жешь. Куда там до них даже самым наилучшим отбивным. Или рыжики с луковой да в сметане – такой деликатес. Самый настоящий изыск! А больше всего их там, где могилы. Там никто не собирает. И чего люди боятся? Мне так все равно, из могил, не из могил. Те же самые грибы. Кому какое дело, что там – под землей. Если так рассуждать, то нельзя ни ходить, ни ездить, нельзя строить дома, даже пахать, сеять и то – нельзя, потому что весь прежний мир там. Мы должны были бы порхать над землей или даже переселиться с нее. Вот только куда?

Все собирают, сушат, маринуют, жарят. По вечерам – здесь грибочки, там грибочки. А к ним – пол-литра, литр. Когда как пойдет. Пан просто не представляет, как здесь весело. Ел ли пан соленые грибы? О, у них – такой вкус! На особицу. Здесь есть одна мастерица, которая солит. Только самые лучшие на посол – грузди. А на грузди, если бы пан приехал, как раз сезон. Прошу, просто дайте мне знать. Хоть бы на те соленые приезжайте, приглашаю. Я разговаривал с ней, если пан придет, – засолит.

«Там, где могилы» – как током меня ударило. Чуть ли не в прострации я поднял трубку, чтобы позвонить ему, я приезжаю. Но в последний момент положил ее. И так – почти каждый день. Я поднимал трубку, чтобы снова положить ее назад – лучше завтра. Несмотря на то, что каждый раз что-то словно говорило мне, – если не теперь, то уже никогда. Но я все равно откладывал разговор, завтра, мол. Однажды я даже набрал его номер, но как только услышал гудок, снова положил трубку. В другой раз даже услышал его голос в трубке:

– Алло! Алло! Холера ясна², опять кто-то не может дозвониться. Черт бы побрал эти телефоны!

С трудом сдержался, чтобы не сказать, это я, пан Роберт. Как-то был у меня выходной, налил я себе бокал коньяка, выпил. Потом другой, третий. Пан Роберт? Это я. Я приеду. С минуту, не меньше, в трубке было тихо, я даже успел подумать, видно, он так поражен новостью, прежде чем услышал, словно вздох:

– Наконец-то. И что же случилось, если пан, в конце концов, решился?

– Так меня эти соленые грибы подтолкнули, пан Роберт. Никогда не ел соленых грибов.

– Так надо было заранее дать об этом знать. Успеет ли теперь эта пани засолить? Их же ведь еще насобирать нужно. А я даже не знаю, есть ли сейчас грузди.

– Не важно. Я пошутил. Просто надо было когда-то решиться, вот я и решился.

– Рад этому. Наверное, вы понимаете. Столько лет я приглашаю пана, приглашаю.

Но я не почувствовал по его голосу, чтобы он обрадовался, как этого можно было бы ожидать по его многочисленным письмам, а тем более, по этому, последнему. К нему домой я приехал в субботу, под вечер. Пан ведь не знает, где это, сказал он мне по телефону. Сам пан не найдет. И в воскресенье с утра мы с ним двинули к заливу.

– О, у пана прекрасный автомобиль. Должно быть, такой автомобиль и стОит. А я, видит пан, на этом малыше. – Этот его малыш стоял перед домом. – Кузов недавно поменял. Ржа его полностью съела. Да и пашу я, как вол. Весь день в магазине. Перерыва на обед – и того нет. Но здесь ничего человеку не заработать. Даже на сувенирах.

А когда мы уже сели в автомобиль:

– О, и магнитола у пана.

И то у пана есть, и се. Так его захватил мой автомобиль, что разные сетования из него так и посыпались. Из-за этого он даже забыл мне сказать, как надо бы ехать к заливу. Только когда мы уже очутились в лесу, на последнем участке дороги, вдруг опомнился, пораженный:

– Откуда пан знает дорогу?

– Так из ваших же писем, пан Роберт. И по карте.

² Холера ясна – Черт возьми» (польск.)

– Разве что по армейской, топографической, на дорожной этого залива нет. К счастью для нас, – словно недоверие появилось в его словах. – Из моих писем? Не помню, чтобы описывал пану дорогу.

– Столько лет, столько писем, пан Роберт. Разве пан может все помнить? Я из каждого пытался что-то извлечь. Вот, наилучшее доказательство, как я читал ваши письма. Тем более, уже давно собирался приехать.

– Что правда, то правда. Писем тех я написал пану... Написал, – немного успокоился. – Не на каждое пан отвечал мне. Я пану два, три, пан – хорошо, если одно. И, большей частью, пару предложений. Или только открытку – приветствую, благодарю, желаю. Я уж не раз подумывал, что пан не хочет нашего знакомства. Что оно тяготит пана. Ведь... – и в голосе его послышались явно различимые нотки раздражения. Поэтому я поторопился перебить:

– Да для меня, пан Роберт, написать письмо – такая мука. Лучше позвонить или вот, даже приехать, как пан и сам видит, – я засмеялся.

– Мука? – задумался. – Ведь это словно поговорить с кем-то, кому-то открыться. Тем более, в письме. Это же, как-никак, документ. Бумага.

– Вот именно – бумага.

– Что бумага?

– Лист бумаги. Мы только оставляем никому не нужные следы.

– Ну, а как со мной? Почему тогда пан не дал мне знать, что у него нет особого желания писать?

– Пан Роберт, вы были единственным, кто написал мне отсюда.

– Как так?

– Не хотелось бы говорить об этом.

– Можем и не говорить.

И больше, до самого залива, он не сказал ни слова. Но в этом его молчании я чувствовал возрастающее недоверие ко мне. Так что когда приехали на место, бросил только:

– Может, пан вон там поставил бы автомобиль.

– По крайней мере, можно было бы и сказать что-то, но пан и сам увидит, если посмотрит вокруг. Все прямо как в моих письмах, как в моих письмах. Мне не надо было ничего выдумывать.

Вынул из багажника, что мы там привезли, и, кивнув головой в предполагаемом направлении его домика, сказал:

– Пошли.

Столько всегда было в его письмах об этом домике, а он даже не предложил мне, не желает ли пан осмотреть.

– Посидим немного на террасе, – сказал. – Раскрыть зонтик или пан хочет так? – После чего вынес плетеный из ивы столик, два таких же кресла, две банки пива, два бокала. – Видит пан надписи? Я купил эти стаканы после того вечера, на память.

– Да, действительно, – ответил я.

– Пан не голоден? – спросил. – Пока выпьем. А потом я по-быстрому что-нибудь приготовлю.

Было похоже на то, что его что-то беспокоит, мы пили пиво, а он почти и не говорил, так, время от времени, пробурчит то или иное слово без особого значения. Зато меня охватила полная беспомощность перед тем, что расстилалось вокруг. И не нужно было мне слов, какими бы важными они не казались на первый взгляд. Мы сидели, попивая пиво, а солнце поднималось и поднималось, словно всходя на самую вершину неба, и вместо того, чтобы начать склоняться к западу, намеревалось подниматься до тех пор, пока не исчезнет, не растворится где-то там, в вышине, наперекор извечному закону природы. Так что даже это солнце словно бы изменилось с тех пор, когда оно точно так же ежедневно заходило за видневшееся вдали взгорье. Ничто здесь уже не походило на самое себя, на то, каким оно было прежде. От лесов вроде бы и тянуло смолой, но этой смоле я как-то не

мог поверить. Ее запах показался мне иным, выветрившимся, без прежней горечи. А ведь когда-то даже в носу свербило, слезы сами из глаз текли, особенно когда смола собиралась со старых, вековых деревьев. Но эти деревья росли только в моих глазах, потому что глядя вокруг на все то, что раскинулось перед нами, я смотрел вглубь себя. Но многого мне не удавалось поднять из памяти. Даже где здесь текла Рутка. Может потому, что над всем главенствовал залив – над землей, небом, лесами, памятью. Тем более, залив шумел, наполнился голосами, дрожал от окриков, зова, увещаний, смеха, словно показывая мне всю силу изменений этого мира. Берега его как бы расширились, вошли далеко вглубь лесов. Или, может, леса сами уступили ему место, освобождая его для загорающих тел, которые все это время высыпали из домиков, из подъезжавших автомобилей, выходили из воды. А воду буквально устилали лодки, байдарки, надувные матрасы и головы, головы в цветных шапочках, неспешно, без толку и какой-то цели, расплзающиеся по поверхности во все стороны. Они исчезали, чтобы снова появиться несколькими метрами дальше, выпрыгивали над водой, словно пробовали вырваться из ее заключения. Огромное количество голов. Они напомнили мне прошлое, кувшинки в широко раскинувшейся излучине Рутки, в пору их цветения. Глядя на все это, я почувствовал не то, что в меня вошла, а что я сам превратился в большую, острую колючку, которая только и может, что причинять боль и мне самому, и окружающим, потому что ни на что другое я, наверное, уже не способен. И я решил уехать. Сегодня же. Еще до ночи.

Я уже хотел сказать об этом пану Роберту, когда он, первым нарушив наше молчание, обратился ко мне:

– Мне кажется, в одном из своих писем я как-то писал пану, что собираюсь продать этот домик.

Даю пану слово, он мне об этом никогда не писал. Зачем он тогда меня приглашал? Попрощаться с этим домиком?

– Хочу уехать. Отсюда, из города. Вообще. Пока не знаю – когда. Жду хорошего покупателя. Есть, вообще-то, один, но он бы хотел в рассрочку. А пан и сам знает, что такое оплата в рассрочку. Первый, второй взнос заплатит, а со следующими будет тянуть. С платежами, оно всегда так, обязательно найдутся более важные и неотложные дела, а очередные платежи могут и подождать.

– Так, может, я купил бы? – пошутил я. И в тот же самый момент пожалел об этой шутке. Слова словно помимо моей воли, в обход моих мыслей и желания сами вылетели. Тем более, что именно в этот момент я хотел другое, совсем другое сказать: «Досадно мне, пан Роберт, но уже сегодня вечером мне надо уехать. Дорога длинная, а утром нужно быть на месте. Обязанности, пан и сам понимает».

– Пан? – он засмеялся, но в этом его смехе я не почувствовал, чтобы он расценил мои слова как шутку. – Пан? – повторил с оттенком насмешки в голосе. – Пан меня рассмешил. Пан живет в другой стране, за столько километров отсюда. А здесь бы у пана был дачный домик. И что, пан также приезжал бы, самое большее – на день, на два?

– Иногда и на день, на два очень хорошо поменять место, – продолжил я, словно наперекор себе, наперекор ему, только потому, что он не принял все это за шутку.

– И пан приезжал бы? Уж я-то вижу. Столько писем, столько лет, а я все не мог пана уговорить. И чтобы теперь пан приезжал. Уж я-то вижу. И как часто?

– Это бы зависело не только от меня.

– От чего еще?

– От обстоятельств.

– Каких?

– Разных. Обстоятельства невозможно предвидеть.

– Но такой домик не может стоять и ждать, когда обстоятельства будут пану благоприятствовать. За ним надо присматривать. Не говорю о том, что постоянно, но всегда есть что-то, к чему надо бы приложить руки. И уже начавшееся воровство пана не смущает? Не проходит и недели, чтобы где-то что-то не взломали. Мы пробовали установить

общественное дежурство, так то один не приехал, то другой забыл, а третьему что-то помешало. Лучше всего было бы нанять кого-то, чтобы присматривал за всем, но тогда он должен был бы здесь жить. – И после небольшой паузы, словно раздумывая: – И пан бы, может, раз в году...

– Может, два, – я прервал, не дав ему закончить, мне было непонятно его сопротивление.

Он с подозрением посмотрел на меня:

– Пусть бы даже и так. Но зачем? Зачем? – бросил раздраженно, с непонятной злостью в голосе.

– За тем же, зачем сюда приезжают все остальные, – ответил я. Хотя не уверен, что ему, может, даже больше – сам себе. – Подышать свежим воздухом. Отдохнуть, отвлечься от всего.

– Да что там пан говорит?! – его чуть ли не колотило от злости. – Где нынче свежий воздух? Ни воздуха, ни воды – ничего. Кто-то чувствует, чем дышит? Дышит, потому что организм этого требует. А пусть бы даже и так, поможет ли это кому-то, если дышать по выходным, в субботу, воскресенье. Или даже в течение целого месяца, во время отпуска. Ничего уже никому не поможет. Или пан думает – что? Отвлечься, отдохнуть сюда приезжают? – Резко отодвинул от себя бокал с пивом, так, что выплеснувшийся напиток слегка обрызгал ему рубашку. – Пан не видит, что здесь стало даже хуже, чем в стандартных панельных многоэтажках? В них с десятков – а иногда и больше! – этажей, поэтому я не обязан кого-то там знать. Добрый день, добрый день, вот и все. И то – не с каждым. С теми, кто сверху или снизу – не обязательно. Тем более, с теми, кто еще выше или ниже. Бывает, неделями человек не видит соседа. Да если пан уходит, приходит в другое время, так с ним вообще можно не встретиться, пока его в гробу из квартиры не вынесут. А здесь, хочешь ты, нет – должен. Только пан приедет, так все – уже облепили его, как муравьи. И зудят, грызут, щиплют. Недели отпуска не прошло, а я уже и не знаю – я это, не я. Не скажет ли мне пан – сколько людей может поместиться в человеке, чтобы он еще чувствовал собственное я, что это еще – он? Человек, как этот бокал, нельзя в него налить больше, чем он вмещает. У меня магазин в городе, а весь город я не там узнал. Здесь. И если бы только по имени, фамилии, какая профессия, должность, адрес, телефон. У меня уже целый ящик визитных карточек. И что? Мертвым грузом лежат. Сколько раз уже переписывал записную книжку, чтобы убрать хотя бы данные тех, кто умерли. А она все толще и толще становится. Да ладно, уж это – не смертельно. Можно как-то вытерпеть. Не о том я. Просто чувствую себя, как в муравейнике. А кто хочет быть муравьем? Ничего здесь не спасет пана. Самое интимное вываливают из себя, словно опорожняются. Нет худших мест, чем те, где все должны быть вместе, да еще и в течение всего сезона. Кто с кем, кто против кого, кто под кем, над кем, кто за что, кто что скрывает, что кому кажется, – чего только не наслушаешься.

Хотел бы пан о болезнях – пожалуйста. Тому – тот диагноз поставили, тому – этот, у того – вот это вырезали, у того – совсем другое. У этого запор, у того понос... Тоже – пожалуйста. Даже об оргазме, и то – пожалуйста. У этой – каждый раз, у той – еще ни разу.

Сидят, лежат, вздыхают. Пан не знает, как все по заливу разносится. Еще ведь домик – к домику, и даже если не так жарко, как сегодня, как пан и сам видит, окна, двери – везде настезь. Поэтому не только от соседей, отовсюду слышно. Из воды слышно на берег, с берега – на воду, с той стороны – на эту. И невозможно убежать от того, что слышишь. Нельзя убежать от того, что видишь. Даже если и не хочешь ни слышать, ни видеть. Оно само, без какого спросу, входит пану в уши, в глаза. Не приезжать же, в самом деле, только для того, чтобы закрыться в домике. Самый тихий шепот здесь многократно усиливается, наименьшая подробность увеличивается до огромных размеров. Пан бы и не хотел, а должен знать все животы, все пупки, зады, венозные узлы на ногах, шрамы после операций. Не может он закрыть глаза. Нет у него возможности заткнуть уши. Вот и получается: вместо своих мыслей – помойка чужих. А чего вы хотите...

Я не узнавал его. Он был совершенно другим, не таким, каким представлялся мне из его же писем. Что такого могло случиться, чтобы он так изменился? И уж совсем не мог я понять, почему он так настойчиво отталкивает меня от этого места. Приглашал, просто соблазнял в течение стольких лет, а когда, в конце концов, я приехал... Должен был ведь догадаться, что с моей стороны с этим домиком была всего лишь шутка. Или, может, еще в дороге, пока мы ехали к заливу, он начал меня подозревать, что я – совсем другой, отличный от того, которого он представлял себе из моих писем. А домик только подтвердил ему это.

– А чего вы хотите... – повторил он, словно прислушиваясь к каким-то своим мыслям. – Пусть пан мне поверит, когда возвращаюсь домой, я опять должен привыкать к самому себе, собирать себя по кусочкам с самого детства, с первых слов, первых мыслей, первого плача, чтобы снова почувствовать, что я – это я. Здесь же живешь, как на сцене. А что человек без тайны, что? Пусть пан и сам скажет. – И, почти закипев от злости: – Христом-богом клянусь, продам я этот домик к чертовой матери! И уеду.

Он вылил остаток пива из банки в свой бокал и устался на шумевший перед нами залив, снова погрузившись в молчание. Наверное, уже я должен был что-то сказать, мне даже показалось, что он ожидал этого от меня. Но ничего мне не приходило в голову, помимо того, что ближе к вечеру надо бы уехать. Я понимал, что сейчас – совсем не время, чтобы сказать ему об этом.

И я спросил его, словно бы так, промежду прочим:

– А где могилы, о которых мне пан писал, что там больше всего грибов?

– А что, пан хотел бы сходить по грибы? Нет, не сейчас, не сейчас, – и сорвался с места. – Принесу еще пива. А может сделать что-то из еды? Пан не проголодался? Чуть позже – сделаю. Я привез цыплят на вертеле, так их надо только подогреть.

Через минуту, возвращаясь с новыми банками пива, он вдруг остановился на полпути:

– Пусть пан вон там посмотрит. Какая-то новенькая. Никогда ее здесь не видел. Надо бы узнать, кто такая. Да, там. Ну, посмотрите, – поставил банки с пивом на стол, пооткрывал, налил себе, мне. – Скажу пану, одно только меня здесь и держит. Иначе давно бы продал, – пригубил немного пива и опять начал оглядываться, словно другими глазами, почти хищными, одаривая меня, время от времени, не то улыбкой, не то насмешливой гримасой. – Та тоже ничего. Вон там, в лодку садится. Ее я знаю. Ой, любит, любит, а что и как умеет! А я покажу пану еще одну, соседку, двумя домиками дальше. Только она, наверное, еще не приехала.

Скажу пану, я слушал его и не верил, что то – пан Роберт. Тот самый пан Роберт из тех всех его писем, открыток, телефонных звонков. И я думал, что же в нем – правда, если брать все вместе – и то, что он сейчас говорил, и то, что писал мне в течение стольких лет. А может ни одно, ни другое? Я ничего не понимал.

– Или вон, на ту пусть пан посмотрит. Берегом залива идет. Даже смотрит в нашу сторону. Это – единственное, что меня еще держит здесь, при всех наших неудобствах. Потому что здесь пан словно у самой природы такую берет. А взять у природы, не то же самое, что с улицы или из кафе. Эх, природа, природа. И самого скрюченного выпрямит. И чего она там копается? О, ложится. Будет загорать. Целыми часами может лежать на солнце. С начала лета уже загорела, как негритянка. Но если быть откровенным, не очень люблю таких, загорелых. Хотя с загорелыми намного проще. Мучились, вылеживали на солнце, так не хотят, чтобы их труды пропали зря. И уж конечно, мучились не для своих баранов – законных супругов. Им рекомендуют животы подтягивать на байдарках, каноэ. Потому как долго ли можно после свадьбы? Год-два и – довольно верности. К счастью, мир отбросил все свои традиции, привычки, предрассудки. Человек сегодня уже не может себе позволить длительные отношения. Каждый за чем-то гонится, к чему-то стремится, поэтому кто-то другой ему – как пудовая гиря на ногах. Разговаривать уже не хочет, а нужно. Не о чем, а надо. Конечно, может и так случиться, что брак – до самой смерти. Но это – уже памятники. Еще недолго и к таким будут водить экскурсии, как в замки, соборы,

музеи. Супружество, по правде говоря, сегодня – общество с ограниченной ответственностью. Распадается одно, основывается другое. И начинает закручиваться по новой, чтобы хоть как-то, чтобы дальше, чтобы до конца. Ни черта не стоит эта наша жизнь, скажу я пану. Все эти наши розовые сны, мечты, начинания, – вдруг глаза его заискрились. – О, глядите. Приехала. Ну, та – соседка. Увидит ее пан, когда она купальник наденет. Взгляда от нее не отвести. Иногда топлес загорает. Конечно, и сюда докатилось. Почему бы и нет. В таких делах нет ни границ, ни языков, ни всяких там фиглей-миглей. Думаю, как-то пригласить ее покататься на лодке. Может, представится такая возможность. Ну да, здороваемся. Но что-то меня сдерживает, не могу себя перебороть. Кажется, вот-вот – а тут смелость, как назло, незнамо куда девается. Может, для начала лучше бы ее на ежевику пригласить? Та, наверное, уже поспела. Следующим воскресеньем пойду в лес, посмотрю. Только она может не захотеть, о ежевику ведь и уколотся – проще простого. Жаль, уже отошла земляника.

Только это меня и держит. Пусть пан сам скажет, что на самом деле человек имеет от жизни? От всех этих забот, огорчений, бессонных ночей? А если пан к ним еще прибавит болезни, другие несчастья. Что в результате? Посидел бы пан вот так – весь день – в моем магазине. С сувенирами. Хе! хе! хе! Продам к чертям собачьим и этот магазин!

Пригубил немного пива из бокала. Глаза, что лишь секунду тому назад кипели жизнью, мгновенно словно погасли и выцвели. Минуту помолчав, уже таким же, погасшим и выцветшим голосом он сказал:

– Да к тому же, если бы пан знал, что здесь когда-то произошло. Хотя, кто-то может жить везде.

– Я знаю, пан Роберт, – в конце концов, я таки решился сказать ему об этом. Пожалуй, было бы неприличным, если бы я это утаил. Особенно, учитывая, что пока мы ехали к заливу, он накопил по отношению ко мне подозрений, откуда я знаю дорогу.

– Откуда? – ужас появился в его глазах. – Разве не из моих писем? Я о том пану никогда не писал. Никогда.

– Я родился здесь.

– Где здесь?

– Здесь.

– Как здесь? Где здесь?! – меня удивила его горячность, с которой он среагировал на мое признание. – Разве что пана тогда тут не было. Здесь никто не спасся. Никто.

– Но все же, как пан видит, я выжил, если можно так сказать. В каком-то смысле не только я, но и сам пан, и все, кто здесь, у залива, все мы спаслись. Все, кто сейчас живет.

– Но тогда, здесь – никто. Никто, – он мало не налетел на меня. – Видит пан это взгорье. Мы жили там во время войны. И однажды, как гром среди ясного неба, грохнула новость, что здесь село жгут. Схватила меня мать за руку, я еще ребенком был, и мы побежали на самую вершину взгорья. Винница, так называлось то место. Там уже стояла толпа народу. Правда, увидел я немного, только клубы дыма над лесом. Но старшие все видели. Горящие дома, овины, хлева, обезумевших животных, людей, как по ним стреляют. В какой-то момент мать взяла меня на руки, но я все равно ничего, кроме этих дымов, не увидел. Мать встала на колени и мне велела встать, потому что все встали на колени. Велела, чтобы заплакал, потому как все плакали. Только мне хотелось смеяться. У матери была тушь на ресницах, от слез она потекла, и темные ручьи побежали по материнскому лицу. Я не мог сдержаться. Люди повернули ко мне головы, а кто-то сказал:

– Смеется, а там людей мордуют.

Мать смутилась. Она рывком подняла меня с колен, потянула за собой. – Не оглядывайся. – И мы спустились со взгорья вниз.

– А могилы там, – он показал рукой в сторону леса. Через минуту бросил: – Думаю... Можно и в рассрочку. Пять, десять или сколько там платежей, мне все одно.

Скажу пану, я, когда он вышел из домика пана Роберта, даже подумал – не с такими ли платежами и он сам. Но тогда пан уже должен был бы оплатить последний взнос. Ина-

че бы он никак не мог попасть в домик. Откуда бы ему знать, где ключ? Последний взнос в руки, только после этого можно сказать, что на террасе.

Жив, жив. Почему ему не быть живым. Кто бы тогда присылал мне деньги за охрану. О, как-то, когда я поднял плату с каждого домика, следующий конверт пришел уже с учетом повышения. Хотя, собственно, пану Роберту я не собирался поднимать плату. Никто не живет в домике, никто из знакомых никогда не приезжает, так за что тогда? Крыша только по осени стала немного протекать. Так и лило тогда, так лило. Как начало с конца лета, так уже листья все с деревьев опали, а все лило. Ни лучика солнца за все дни. Днем, ночью лило. Не помню другой такой осени. Вода в заливе поднялась аж под самые домики. Те, что ближе к берегу. К счастью, они стоят на бетонных столбах, пан и сам видел. Я люблю дождь, но уж слишком долго он тогда лил. В спальне у пана Роберта, наверху, начало протекать. Я думал, прекратит дождить, так и подлатаю. А оно ни на минуту не затихало. Пришлось под дождем. Новый рубероид положил кусками на крышу. А недавно заменил две доски на террасе, прогнили. Все замки смазал в дверях, петли в окнах, проверил розетки, контакты, провода. В таком, нежилом домике, они тоже портятся. Если бы у меня был адрес, я написал бы ему.

Часто я думаю о нем, пусть пан ему скажет. Знаю, знаю, пан мне говорил, что не знает его. Ну, а вдруг, кто знает. Больше всего меня беспокоит, как он себя чувствует после той операции. Да, должен был лечь на операцию. Нет, он не тогда мне об этом сказал. Не в мой следующий приезд, когда тот самый туман был, я рассказывал пану. Я не виделся с ним, только по телефону разговаривал. Но жил он еще там, где и раньше жил. Оставался ли в то время за ним магазин, я пану не скажу.

Когда уже съехал, я пробовал хоть чего-то узнать о нем от его соседей. Мне тогда сказали, что сначала он продал магазин, потом уже жилье. Но куда выехал, никто не знал. Зато каждый говорил, что, собственно-то, и знал его мало. И больше по магазину, чем так, по-соседски. Вообще-то редко его видели, порою только, как уходил или приходил, добрый день, добрый день – это и все. Не был он разговорчивым.

И тот, что магазин у него купил, тоже ничего не знал. Даже как бы и обиделся, когда я его спросил, может, знает он что-то.

– Откуда, пан, мне знать? Я заплатил ту цену, что он сказал. Даже не торговался. А что, место хорошее. Чего пан от меня хочет? Сувениров я не продаю. Вот, овощи, фрукты. Уехал так уехал.

У залива – точно также. Никто, ничего. Некоторые даже не заметили, что домик уже несколько сезонов пустует. Таращили на меня глаза, словно удивлялись, почему не приезжает. Пан Роберт, пан говорит? И в какой сезон это было? В какой сезон? Да, помню, и в самом деле. И из города, пан говорит, тоже уехал?

Я звонил ему, прежде чем он уехал, мол, хотел бы приехать. Он не выказал ни тени радости.

– Нынче, осенью? – голос его показался мне сухим, с проступающими в нем нотками раздражения.

– А это создает пану какие-то проблемы?

– Нет, только удивил меня пан. Вообще-то надо было летом.

– Не мог я летом, пан Роберт. К тому же, хотел увидеть, как там осенью.

– Зима уже скоро. Листья уже почти все опали. Того и гляди, снег посыплет. И что пана так тянет, что? Пан может и пожалеть об этом.

Я подумал, может, у него что-то со здоровьем. Спросил:

– А как здоровье пана?

– В соответствии с возрастом, – ответил он коротко. – Собираюсь на операцию.

– Что-то серьезное?

– Там видно будет. Пока жду места в больнице. Мне обещали. Может, даже завтра. Или послезавтра. Должны известить. У меня уже и чемодан с вещами упакован. Поэтому не могу поехать с паном. Но домик я еще не продал. Пан может остановиться.

Сказал мне, где найти ключ. Под навесом террасы, у балки, на гвоздике висит. И чтобы туда же повесил, как уезжать буду. Где подключить электричество, чтобы быть со светом, теплой водой. Ну, и отоплением, потому как холодно уже. Где постельное белье, где полотенца, где то, это.

– Пан предполагает, когда из больницы выйдет? – спросил я.

– Откуда мне знать? – бросил, как отрезал, словно хотел закончить наш разговор.

– Может, я бы смог навестить пана, если бы?..

– Зачем? Больница – не место для встреч. Да и не люблю я.

– Может, я чем-то мог бы помочь?

– Вы мне? Лучше – себе, – прозвучавшая в трубке ирония неприятно поразила меня.

– Все-таки надеюсь, что мы еще встретимся.

– Так ведь встречались уже.

И это были его последние слова.

3

Не встречались ли мы уже когда-то? Только где, когда? Как-то сдается мне знакомым лицо пана, когда посмотрю на него. Сразу, как только пан вошел, оно показалось мне знакомым. Или, может, пан только похож на кого-то, с кем когда-то встречался. Даже не знаю, кто бы то мог быть. Если бы только вспомнить мне, может, и ему бы вспомнилось – где мы, когда. Среди людей встречаются похожие, поэтому иногда кого-то можно принять за другого. Особенно, если когда-то с кем-то был близок, а потом его долго-долго не видел, невольно хочешь его увидеть даже в ком-то, совершенно тебе незнакомом, чужом. Но по итогу, похож ли кто-то на кого-то, нет, какое это имеет значение. С годами мы сами на себя становимся мало похожими. И даже наша собственная память не всегда хочет помнить нас такими, какими мы когда-то были. Что уж тут говорить о других людях.

Часто и здесь испытываю то же самое. Всех знаю, по всем у меня есть списки – кто в котором домике живет, а по открытию сезона, когда начинают заезжать, некоторых приходится заново вспоминать: те ли это самые. Иногда даже подумаешь: неужели лицо может так сильно меняться от сезона к сезону? Правда, бывают и такие лица, которые вообще в памяти не остаются. Пан каждый день может смотреть на такое лицо, но достаточно его не видеть до следующего сезона и все, даже не знаешь, видел ли вообще когда-то этого человека. Но бывают и такие, что едва взглянешь невзначай, а он навсегда, намертво остается в твоей памяти.

Частенько и так случается: идешь по городу, людной улицей – народу, толпа просто, чтобы пройти и не толкнуть кого-то, об этом даже думать не приходится, но ты можешь ничего не видеть – ни зданий, ни рекламы, ни витрин, ни машин, а людские лица только и мельтешат перед глазами, короткими, как молния, вспышками, как вдруг среди этих многочисленных вспышек – чье-то лицо, совершенно непонятно почему именно это, а не другое, впечатывается в мою память, да так и остается в ней. Навсегда. О, ношу в себе бесконечное число таких лиц, как бы сфотографированных теми короткими вспышками. Не знаю, чьи они, не знаю, где их встретил, когда, ничего не знаю о них. Но они живут во мне. Их задумчивость, взгляды, печаль, гримасы живут во мне, отпечатавшись, как на фотографиях. Но это – не обычные фотографии, на которых, если уж остался кто-то, то таким и останется навсегда. А как пройдут годы, так и сам себя не узнает, что это он. И даже если знает, что это он, так не хочет этому верить. На тех же, которые сделала моя память, хотя бы и мимолетным взглядом, у всех этих лиц с годами прибывает морщин, начинают закрываться веки. Так, например, у кого-то были большие глаза, а сейчас видны только щелки. Кто-то улыбался, показывая два ряда ровнехоньких белых зубов, а остаются только губы, чуть приоткрытые в усмешке. И честно говоря, лучше бы он вообще не усмехался. Или красивая женщина, которую удержала в моей памяти та мгновенная вспышка, сейчас... Не хотел бы я, чтобы пан ее встретил. Знал столько красивых женщин и скажу

пану, много раз моя память сохраняла их фотографии, может, потому и думаю – красивым женщинам, пожалуй, лучше умирать молодыми.

Но кто я такой, какие у меня права на то, чтобы случайно запавшие в мою память остались во мне, и моя жизнь стала как бы и их жизнью. Такое чувство, что внутри меня: целый выставочный зал, в котором от пола до самого потолка и все лица, лица. Пробираешь забыть их, напрасно. Не раз у меня было такое чувство, что они сами не горят особым желанием, чтобы я их запоминал. О, нелегко жить с этими лицами внутри тебя и не знать о них ничего.

Хотя бывает и наоборот. Как-то, например, ехал я с кем-то в поезде, мы сидели друг напротив друга, как это и бывает в поездах, и от нечего делать разговаривали время от времени, хорошо помню день, месяц, время отправления поезда, время его прибытия на станцию назначения, где он, попутчик, вышел, а я поехал дальше и даже думал потом о нем, а лица его – не помню. Так и мы, могли когда-то ехать в том самом поезде, в том самом купе, могли разговаривать, я мог потом думать о пане, а теперь вот даже не могу вспомнить ваше лицо, хотя и сдается мне, что передо мною – знакомый. Мы могли и самолетом лететь, на корабле плыть. А сам пан, случаем, меня не помнит?

Нет, я не в претензии. В конце концов, пан и не должен был обращать на меня внимания. С чего бы? Не обязательно, чтобы оба помнили, так что пан и не должен. Я просто для порядка пробую вспомнить о том, этом, чтобы как-то все разложить по полочкам. Может, тогда мне удастся найти и себя самого. Порядок – это ведь не только: то запрещается, а это разрешается. Ой, не только. Может, вообще не это. Временами у меня складывается впечатление, что это – как бы обратная сторона жизни, где все имеет свое место, свое время, и все идет совсем не так, как оно само того хочет, нет, ничто не может выйти за установленную каким-то высшим порядком межу. Не знаю, согласится ли со мною пан, но именно этот порядок превращает нашу жизнь в судьбу. Не говоря уже о том, что мы являемся только песчинками в общемировом порядке. Поэтому этот мир и непонятен нам, его песчинкам. Без порядка человек сам по себе не выдержал бы. Мир не выдержал бы. Даже Бог. Был бы он Богом без порядка? Человек – удивительнейшее существо на этом свете, и кто знает, может, еще удивительнейшее, чем сам Господь. Вот только никак не хочет понять, что для него лучше, когда он знает свое место, время, свои границы. Ведь то, что мы рождаемся и умираем, уже является тем порядком, который определяет нашу жизнь.

Я так пану скажу: не согласился бы присматривать, если бы не уломали меня – мол, дальше будет по-другому, не так, как раньше, даже если это и не понравится кому-то. Присмотр за домиками тоже ведь требует отказа от чего-то в обмен на что-то. И я сказал – соглашусь, но нужно навести здесь порядок. Ничего, что природа. С тех пор, как человек и природа перестали быть одним целым, человек согласился на другой порядок, отличный от природного. Если бы он и дальше жил по законам природы, она бы сама за ним следила. Но у меня...

Начал я с прокладки дорожек, потому что раньше здесь ходили, как кого ноги несли. Траву, не только перед домиками, везде, куда ни посмотри, – до земли вытоптали. Сказал, чтобы привезли лопаты, бечеву для разметки. Колышки, чтобы ее закрепить, сам лично вбил. Начертил план, по нему разметил дорожки как с этой, так и с той стороны залива. И что пан думает? Еще дорожки не проложили, а народ уже бунтовать начал. Мол, я их свободу ограничиваю. Разозлило это меня, ну, я и сказал – хотят они или не хотят, чтобы я присматривал?! Раз хотят, так надо браться за работу. Нет, пан представляет? Свободу их я ограничиваю! А они мою не ограничивают? Любая договоренность – не что иное, как взаимное ограничение. Не говоря уже о том, что я сюда приехал не для того, чтобы за их домиками следить. Мне и с табличками – вот так (!) хватило бы работы. Может, даже слишком много, ну, да человеку всегда кажется, что много. Мог бы жить себе спокойно, заниматься с собаками. В конечном счете, мне уже немного осталось. Ходил бы, как выпадало свободное время, в лес, читал бы, слушал музыку. Я привез с собою несколько

книг. Не так, чтобы много, но каждую из них можно перечитывать. И раз, и другой. А можно и без конца. Я всегда, как только время позволяло, любил читать.

Когда еще работал на стройках, если только рядом была библиотека, брал себе книги. И перед тем, как заснуть, мне надо было прочитать, по крайней мере, несколько страничек. Все зависело от того, насколько я был уставшим. Но даже когда и сильно выматывался, мне обязательно надо было почитать, иначе – никак не мог уснуть. Пьяным – и то, все равно надо было. Я не понимал, но читал. В конце концов, не обязательно понимать сразу. Жизнь, сколько бы человек ни прожил, тоже нельзя понять. Много вещей я привез с собою: телевизор, радио, магнитофон, видеоманитфон, немало пластинок. Там, в комнате.

Я и не должен бы их всех здесь знать, кто есть кто и из какого домика. Но приходится, хотя мне это иногда – совсем ни к чему. Приходится помнить, что, где, когда, кто кому и так далее. Приходится проверять их домики по окончании каждого сезона. Приходится то, другое, десятое, хотя, вообще-то, мне это совсем не нужно. Потому что уже давно я ничего никому не должен. Как насобирают грибов, зовут меня, чтобы пришел, посмотрел – нет ли ядовитых. И приходится идти, потому что – как иначе? Что, пусть все потравится?

Свободу их ограничиваю. Как будто кто-то знает, что это такое. Они-то приходят ко мне со своими жалобами, печальми. И я должен их выслушивать! Естественно, что и доносят. Как без доносов, когда столько домиков, столько людей. Порою чувствую себя ксендзом, принимающим исповедь. Только ксендзов учат, как забывать. Отпустят они грехи и забудут. Но я – не отпускаю, и забывать – не умею. Так кто чью свободу ограничивает? Пусть пан сам скажет.

Свобода. Уже в самом этом слове, можно сказать, кроется противоречие. Так же, как и в наипрекраснейшей иллюзии – тлеет отчаяние. Потому что, если понимать свободу, как свободу от всех принуждений, то и от себя – тоже. Ведь человек сам для себя – самое назойливое принуждение. Зачастую такое, которое трудно (если вообще возможно!) вытерпеть. Поэтому некоторые сами себя не выносят. Тут даже ходить далеко не надо. Дядя Ян, например. Ничего такого ведь не случилось, чтобы он сделал то, что сделал. А то, что, может, и случилось – в любом случае, то, в чем его подозревали, уж это – мог бы как-то и снести. Не такие вещи человек сносит. Или повесился, потому что был свободен? Или потому, что иначе не мог освободиться от себя? Скажу пану одно, человек в своей свободе непредсказуем. Не только для других. Прежде всего для самого себя.

Много раз думал над этим и прихожу к выводу, что свобода – это только слово, точно такое же, как и множество иных слов. Они не значат того, что мы хотели, чтобы они значили, потому что это невозможно. Высоко метили, а в итоге получили иллюзию. И удивляться тут нечему, поскольку вся наша жизнь – не что иное, как непрерывная цепочка иллюзий. Иллюзии нами руководят, иллюзии влекут нас. Иллюзии нас подталкивают, сдерживают, определяют наши цели. Мы рождаемся от иллюзий, и смерть является только переходом от одной иллюзии к другой.

Есть и такие слова, которые не имеют постоянного значения. Слова, которые меняют свой смысл в зависимости от наших стремлений, мечтаний, мыслей, печали. Можно сказать, что есть слова без какой-то основы, бестелесные, блуждающие во вселенной других слов, слова, самостоятельно ищущие свои значения, или, лучше сказать, свои представления. Хотя бы те же самые «вечность», «небытие». И кто знает, не относится ли к таким словам и свобода. Таких слов надо остерегаться, поскольку они умеют перевоплотиться в любое значение, так же, как и в любое наше представление. В зависимости от того, насколько мы готовы поддаться их воле и для чего хотим их использовать. Я думаю, даже природа не свободна.

Скажу пану, что только дети меня здесь и держат, иначе давно бы бросил эту работу. Да, люблю детей. Может, только детей еще и люблю. Себя? А почему пан спрашивает? Себя – нет. Не за что. Как привозят детей, так они ко мне и прибегают. Чего хотят, я им всегда сделаю, покажу, объясню. Червяков копаю им для рыбалки, снаряжаю удочки, учу плавать, отличать одну рыбу от другой. А что-то испортят, так и слова не скажу, ремонти-

рую. Иногда собираю их большей или меньшей компанией и веду в лес. Конечно, если родители согласны.

Учимся определять деревья, чтобы могли различить, которое из них дуб, бук, лиственница или ель. Собираем ягоды земляники, ежевики или шишки, желуди. Показываю, как отличить ядовитые грибы от неядовитых. Время от времени задаю им разные загадки, чтобы что-то лучше запомнилось. Увидим птицу, я объясняю, что за птица и как ее не перепутать с другой. Найдем гнездо, так говорю, какой это птицы, и какие гнезда выют другие птицы. Как устанут, садимся и я что-нибудь рассказываю им.

Что? Нет, о том, что здесь когда-то случилось, – нет. И на могилы никогда не вожу. Зачем лишать их детства? Ведь совсем не от возраста зависит, чувствует ли себя малыш ребенком или нет. У меня нет детей. Женат был, но детей нет. Через это и с женой разошлись, потому что она хотела ребенка. Но детей знакомых я любил. Как приходил к таким в гости, то не было случая, чтобы не принес подарка их малышам. Смотрел и радовался, как они радуются. Любил играть с ними. Но как только приходила мысль, что какой-либо из них мог бы быть моим, страх меня охватывал. И сегодня так же: как подумаю, что какой-то из тех, что здесь, мог бы быть моим...

Со взрослыми, по крайней мере, знаю, что меня с ними уже мало что связывает. Да и не должно, в принципе, ничего объединять, помимо того, что я присматриваю за их домиками и требую порядка. Не ради самого порядка, и не потому, что порядок облегчает присмотр и охрану. Нет. Только если вокруг вас – порядок, легче его организовать и внутри самого себя. А то, что бунтуют время от времени, так и я в ответ могу пригрозить, что присматривать не буду. Я потребовал, чтобы во всех домиках свет гасили в одно и то же время. Приезжают ведь отдохнуть, тишина должна быть. Думает пан, что все сразу это поняли? Как же! В некоторых домиках специально свет не гасили ночь напролет. Поняли только, когда сказал им, что за этими домиками я присматривать не буду. Ну, если только у кого-то именины или другое торжество, тогда я на час, другой разрешаю не гасить свет, но никак не оставлять его на всю ночь.

Определил места под костровища, вдали от домиков, леса, ближе к воде. Колбаски печь, ничего не имею против, но только до такого и такого времени. Потом обязательно залить костровище водой. Хожу, проверяю.

Раньше те же домики были без номеров. Приезжал кто-то посторонний и плутал. Или ко мне приходил: который из домиков того или того. И надо было его отвести, потому, как не нашел бы, даже если все ему объяснить. Я сам и то – не раз ошибался, кто в каком живет.

Пан и сам видел, здесь много одинаковых домиков. Собственно, из-за этого я и решил пронумеровать их все. С номерами намного легче. Могло бы показаться, что всем это должно быть понятно. Как же! Сплошные трудности. Каждый хотел получить как можно меньший номер. Или, опять же, кто-то предложил, что нужно нумеровать в том порядке, как по времени строились домики. Только ведь в таком случае никто бы по номерам не попал к нужному ему домику. Первый номер в этом случае был бы, к примеру, где-то ponad лесом, а второй – уже на этом берегу залива. Ну, и непонятно еще было – кто ставил свой домик первым, кто – вторым или десятым, потому что в самом начале строила фирма. И заселялись домики не один за другим, а в зависимости от того, кто дал больше взятку или у кого были знакомые на фирме. Опять же возник вопрос – с какого берега залива начать нумеровать. Не могли договориться между собой, этот берег хотел, чтобы отсюда начать и потом продолжить дальше. Но то же самое – и другой берег: чтобы там, у них, начать, а потом продолжить.

И как бы пан поступил, будь он на моем месте? Хотелось, чтобы они сами установили порядок, потому что я, как чувствовал: если сами не дойдут до взаимопонимания, никогда здесь не будет согласия. Все время будут переживать за эти номера: мол, живут не под такими, под которыми хотели бы жить. В конце-то концов – их домики, их номера. Я брался только краску купить, вырезать трафареты и покрасить их. А дело мало до крови не дош-

ло. Скажем, хотят, чтобы покрасил номера, потому что должны быть покрашены. Или: тут должно быть начало, а конец – вон там. И оба берега разом, в один голос. Но каждый – за свою правду.

Пан думает, на этом все и закончилось? Как же! Дошло до того, что никто не хотел тринадцатого номера, от него, мол, одни несчастья. Вот только какой порядок без одного номера? Ведь может появиться и кто-то такой, кто будет искать именно тринадцатый. Не было согласных на него, пришлось тянуть жребий, и выпало, что тринадцатый номер как раз между двадцать шестым и двадцать седьмым. Но лучше пусть так будет, потому что в любом порядке обязательно должно быть чуточку беспорядка.

Мусор точно так же выбрасывали, кто где хотел, а чаще всего его в лес выносили. Дошло до того, что весь лес загадили. Голые палки вместо деревьев стояли. Велел всем привезти пакетов и выбрасывать в пакеты, а уже их вывозить в город, на помойку. Город и так уже ничем не спасти. А если попадется банка из-под пива, кока-колы или каких других напитков, псы сразу вынюхивали, когда кто выбрасывал, и приносили мне прямо к порогу.

Или если загорать, так не за один раз и не так долго, как хотелось бы кому-то, есть такое предостережение на щитах, что надо постепенно, а лысым – в шапочках. А то было тут раз, кто-то решил за один присест загореть, а потом пришлось скорую вызывать.

Сделали два щита, вкопали два столбика, по одну, по другую сторону залива, повесили на них те щиты и что запрещено, а что разрешено, каждый сезон на щитах расписываю. Как приезжают, все должны прочесть, что там написано, так как каждый сезон дописываю что-то новое, или некоторые предостережения заменяю на более ясные, понятные и доходчивые, чтобы потом мне не говорили, что это и так, и эдак понять можно.

Может, пан хотел бы на те щиты посмотреть? Они там, в сеньях, стоят. Да, после окончания сезона снимаю. Может, пан посоветовал бы мне, что еще дописать. У порядка нет конца. А то, кто знает, пан и в сезон как-нибудь приедет. Сам тогда увидит. Думаю, еще пару таких сделать. Неплохо было бы их вообще, перед каждым домиком поставить. А еще лучше, чтобы каждый их на собственных плечах носил. Тогда бы никто не говорил, что у него времени не было прочесть.

Пан спрашивает, для чего все это делаю? Тогда и я пана спрошу – а знает ли он людей? Потому как что-то подсказывает мне – не очень. Как бы пан смог сотрудничать со всеми, находить с ними общий язык? И что? Как все это разгрести? Неужели человек таким уже создан? Так почему он тогда стал таким? Не должно бы так быть. Разве нельзя представить себе этот мир без человека? А почему бы и нет? Что, неужели тогда этот мир был бы лишен будущего? А может наше будущее – наше несчастье, а из-за этого – несчастье и мира в целом? У меня нет той силы, какая, вполне может быть, есть у пана. Не знаю я этого, потому что не знаю пана. Но хотя бы здесь, в этом месте, не может так быть. Конечно, все это могло бы и не волновать меня, если бы не надо было присматривать. А взялся я за это, потому что должен, но это уже совсем другой вопрос.

Вот, например, с прошлого сезона нельзя брать детей на глубину. Не мои это дети, но не могу глядеть, как отец или мать берут ребенка на глубину, чтобы научить его плавать. Не бойся, не бойся. Это не способ, чтобы ребенок не боялся. Как-то раз чуть не утопили. Отца захлестнуло волной, он и выпустил малыша. Тут бы кто за ним доплыл, не до ребенка уже. На счастье, Рекс и Лапша бросились в воду и вытащили.

И взрослым тоже запретил, если кто не умеет хорошо плавать. Думаю даже, не распорядиться ли, чтобы все сделали себе плавательские права³. Иначе, как узнать, умеет ли плавать, если говорит, что умеет. Не будешь ведь возле каждого стоять. Может, когда-нибудь устрою экзамен, и пусть каждый покажет – умеет, нет. С водой шутки плохи. С водой, с огнем, с судьбой.

³ По аналогии с водительскими

С одним только не могу смириться. Чтобы не скандалили и жен не били. Говорю «жена», но мне не важно – жена ли, нет. Есть здесь такие, что каждый сезон приезжают с другой, но я знаю свои границы. Есть и такие, что, как суббота, воскресенье, так они – с иной. Прошлый раз был с женщиной постарше, а теперь приехал с намного младшей. И не хотел бы, а видишь. Некоторые даже между домиками обмениваются. То в одном живут, то в другом. И не хотел бы, а видишь: жила в этом домике, теперь живет в том, а через неделю-две – уже совсем в другом месте, где-то на краю. Я в это не вникаю. Мне даже в голову не приходит спросить этого или того: новая жена, что ли? Нет, даже слышать не хочу, когда мне об этих женах-«не женах» доносят.

Раз донесли, что в одном домике, пан меня извинит, но номера не называю, он ее, уж не знаю, жену или не жену, все время бьет. И всегда – ночью. Чтобы я что-то с этим сделал. Но что сделать? Я же не пойду, не скажу ему: не бейте, пан. Жену или не жену, у меня даже права такого – сказать – нет, я ведь не знаю – жена ли она ему, нет. Сам бы я никогда не ударил женщину. Но как такому объяснить? Кто я для него? Я здесь только присматриваю. Так, обычный наемный работник. Или на доске объявлений, даже если бы и хотел написать, что я напишу? Запрещается лупцевать как жен, так и не жен? Есть дела, в которых не помогут никакие доски.

Как-то ночью разбудил меня крик. А может я и не спал? Сорвался, выбежал на улицу. Собаки – за мной. Вижу, ни в одном из домиков света нет. Тишина... Как и обычно здесь ночью. Даже подумал – не приснилось ли мне? Иногда бывает такое – что-то приснится и разбудит меня. Даже если и глубоко сплю. Потом и самому не верится, что это мне только приснилось. Что, к примеру? Не скажу пану, сон невозможно пересказать. Опишешь его и он, пересказанный, перестает быть сном. Это все равно, что пытаться описать Бога. Но получится ли от этого Бог? Что вообще можно пересказать? Пересказанное останется только пересказанным, и ничем более. В целом оно имеет совсем немного общего с тем, что было, есть или будет. Живет собственной жизнью. Не застывает раз и навсегда, но все время меняется, разрастается, каждый раз все больше и больше отдаляясь от того, что было, есть или будет. Но кто знает, может, таким образом приближается к правде?

Если пан вдумается, попробует, насколько такое вообще возможно, и исходной, еще ничем не искаженной мыслью, прикоснется к мирозданию. Тогда пан согласится, что именно рассказанное, а никак не наоборот, устанавливает то, что было, есть или будет, придает миру объемность, обрекая его на небытие или обнадеживая воскрешением. И только рассказанное является единственно возможной вечностью. Мы живем в рассказанном. Мир – это то, что рассказано. Поэтому и жить – все тяжелее. Может, только наши сны и распоряжаются нами. Может, у нас только и есть, что наши сны?

Признаюсь пану, вообще-то снится мне не так уж и много. А с годами все меньше и меньше. Да к тому же, как просыпаюсь, практически ничего не помню. Сплю, обычно, плохо. Уже с ног меня валит, а лягу, и не могу уснуть. А если засну, не знаю, сплю ли я, не сплю, или, может, сплю наяву или явь мне снится. Как-то врач, что живет здесь, в одном из домиков, дал мне какие-то заграничные порошки, мол, с ними я буду спать, как младенец. Порою придет, посмотрит меня, выслушает, измерит давление. Говорю ему: зачем, пан доктор? Не должен я так долго жить. Достаточно уже того, что прожил. Вот возьму порошок и засну, как бревно. А если в домиках что-то случится? После порошка и собаки меня не разбудят, а сами они – как? Двери им не открыть, они на ключ закрыты. Никогда не брал никаких порошков, чтобы спать лучше, а теперь, тем более, – не буду.

С каких пор не могу спать? С тех пор, как себя помню. И все хуже и хуже. Кто знает, не смерть ли отучает меня спать. Говорят, чем ближе человек к ней, тем больше спит. Но у меня, похоже, совсем наоборот. Умру, когда совсем спать расхочется. Отосплюсь за всю жизнь. Может, я ее даже и увижу. И спрошу: почему не тогда? Давно бы уже все закончилось.

Видит пан, у меня просто времени нет сны эти смотреть. Да и собаки мои защищают меня, чтобы ничего мне не снилось. Не знаю, или не любят, когда мне что-то снится, или

не хотят, чтобы еще и сны меня мучили. Начинает мне что-то сниться, так сразу – лижут мне руки, лицо, одеяло с меня стаскивают или лают, словно кто-то в какой-то из домиков вламывается. А разбудят меня, скажут от радости, что разбудили. Подозреваю, что-то знают они о моих снах. Не раз приснится такое, что после этого сна лучше бы и не просыпаться. А проснешься, никак сновидения с себя не сбросить. И продолжаешь в них блуждать, такой весь безвольный, что даже не понимаешь – то ли я это, то ли кто-то вместо меня. И все кажется, будто и дальше оно мне снится.

Воздух, как и сейчас, осенью, будто чем-то острым колет по щекам, или зимой – еще хуже щиплет, а никак не могу понять: то ли проснулся я, то ли мне только снится все — и этот залив, и домики, и собаки, что идут рядом со мною. Больше скажу пану, довольно часто я даже не могу понять — мой ли сон. Нет, пан не ослышался. Мой ли сон, или я себя вижу у кого-то во сне. У кого? Не знаю. Если б знал...

Помню, как бабуля говорила, что не всегда человеку снятся его сны. Могут, например, присниться пану сны умерших, которые в свое время им не успели присниться. Или сны тех, которые еще только придут в наш мир. Уже не говорю о том, что если верить бабуле, так сны странствуют от человека к человеку, по домам, селам, городам... И вообще! Случается, что и заблудятся порою. То или это должно было кому-то в этом доме присниться, а приснится кому-то иному. И совсем в другом месте. Должно было – кому-то на селе, а приснится в городе. Должно было – в этой стране, а приснится где-то в тридевятом царстве. И я — не исключение. Мне тоже могут сниться вот такие, заблудившиеся сны. Собаки это сразу чувствуют и будят меня, когда мне что-то такое привидится во сне.

А надо бы знать пану, бабуля на этих снах не одну собаку съела. Не было сна, чтобы она не смогла объяснить, что он значил. И не только у нас в семье. Приходили к ней и ближние, и дальние соседи, с этой, с той стороны Рутки. И из других сел приходили. Старые приходили, молодые. Девушки, замужние женщины. Кто не верил во сны, и те – приходили. Со всей округи. Приходили, когда кто-то не мог объяснить себе свой сон. И бабуля каждому его сон объясняла. Каждый сон в ее объяснении выходил на явь, словно был чем-то, что человек упустил в своей жизни. Говорила, чтобы ей рассказали всякую деталь, потому что люди мало обращают на них внимания. А деталь иногда может весь сон изменить, повернуть от одного объяснения на другое, из доброго на еще лучшее или из не очень хорошего в не такое уж и плохое. Или даже, что должно было кому-то другому присниться, потому как какая-то деталь была из другой, чужой жизни.

Каждое утро, за завтраком мы должны были ей рассказать, что кому снилось. И не могло такого быть, чтобы никому ничего не снилось. Ночь проспять и чтобы ничего? Только дедушка был исключением, ему никогда ничего не снилось. Трудно в это поверить, правда? Даже нам, детям, всегда что-то снилось. Только наши сны, если верить бабушке, еще не считались, поскольку они были от отца с матерью. Говорила, что до снов надо дорасти, что к своим снам человек приходит через страдание.

Пан даже представить себе не может, – сколько она знала снов. Мы лушили фасоль, а она все рассказывала и рассказывала, словно из стручков эти сны вылущивала. И сны тех, что живут, и сны умерших. Сны королей, князей, епископов. Помню, раз рассказывала, как одному королю приснилось, будто из его короны жемчуга выпали. Нет, не говорила того, что к ней пришел, чтобы она ему объяснила, что все то значит. Но я верил, что пришел и принес ей эти жемчуга на ладони. Не знаю, только я или кто-то еще верил. Наверное, дедушка верил. Он во все, о чем бы бабуля не рассказывала, верил. В самом деле, это и не важно – верил кто-то, не верил. Когда слушаешь, да еще при лущении фасоли, не обязательно верить в то, что слышишь. Достаточно того, что слушаешь. У меня, в любом случае, замирало сердце, когда бабуля начинала, что приснилось раз королю, приснилось князю, приснилось как-то ночью епископу...

Все, бывало, превращались в слух, неважно, верили, не верили. Тишина стояла такая, что если бы не осень или зима, муху бы пан услышал. Отец, мать, Ягода, Леонка, даже дядя Ян, который ни во что уже не верил. Не говоря уже о дедушке, тот так заслушается, что

часом фасоль переставал лущить. Да и у других руки не так проворно стручки выбирали, так что фасоль много реже падала на разостланное полотнище. Отец только, когда заходило о королях, потому что не любил он королев, все несчастья мира им приписывая, прерывал порою бабулю:

– А из какой страны? Ну, король тот. Король не может быть просто так, ниоткуда. Человек — да, может, потому что где человека Господь бросит, там он и жить должен. Но не король. Раз король, то должно быть и королевство. Без королевства какие сны у короля?

Хотя для сна не имело никакого значения, из которой страны был король, зато часто служило поводом к тому, что дядя Ян, которого лущение фасоли словно пробуждало к жизни, тотчас же обрушивался:

– Все то бредни, мать. Сны – бредни, явь – бредни. А королев – давно смело, так что и снов их не сохранилось, – после чего вставал и пил воду.

Зато верной защитой для бабушки была мать. Для матери каждый сон, что-то да значил, недаром же приснился, и надо знать, что он значит. Потому что хуже не знать, чем знать наихудшее. Ну, и дедушка, для которого каждый сон приходил от Бога, тем более хвалил бабулину мудрость:

– Ученые, министры, ксендзы, а она – без школы, и – видишь ты.

И каждое утро, едим картошку ли, жур⁴ хлебаем, чавкаем, стучим ложками о жестяные миски, а бабуля все знай, выспрашивает, что кому снилось, и все эти сны пробует объяснить, дедушка от удивления ее мудростью иногда даже останавливал ложку с журом или картошкой на полпути от тарелки до рта. Нередко суп из его ложки проливался на стол, если нес именно суп, или картофелины падали, когда картошку. Бабушка его укоряла:

– Не разводи грязь.

А он это свое удивление обязательно должен был еще и словами подтвердить:

– Нет, ты видишь, ты видишь. И не знал бы, что тебе приснилось, если бы не объяснила.

О, сны, когда знаешь, как их объяснить, это – целая жизнь. Но на это нужна мудрость, великая мудрость. Мудрость не только этого, но и того света.

Не мог он себе простить, что ему ничего никогда не снится. Заснет, словно умер. Просыпается, словно воскрес. А между заснуть и воскреснуть – дыра. И если бы он посчитал все эти дыры, то получилось бы, что треть жизни не было его на свете. Даже из войны ничего дедушке не снилось, а их – четыре через его жизнь прошли. На одной воевал, ранен был, – вот до самого сюда у него живот был распорот штыком, а – ничего. Может, если бы он от того штыка боль почувствовал, но не почувствовал, во всяком случае, боли, наоборот, такую силу дедушка в себе почувствовал, что убил того, который ему этот штык в живот воткнул. А потом и двух его камрадов⁵.

Да уж, относительно войн дедушка был таким же докой, как и бабушка, когда речь заходила о снах. Никто не мог сравниться с ним в войнах. Войны для него были теми самыми верстовыми столбами, которые не позволяли дедушке заблудиться в его собственной памяти, в этом мире.

⁴ Жур – польский суп. Жур для поляков практически то же самое, что и борщ для россиян. Этот суп готовят и, соответственно, едят все поляки. Существуют сотни самых разных рецептов жура. Он может включать в себя различные ингредиенты – картофель, мясо, колбасу, грибы, клёцки, сметану, сливки, зелень, яйца. Неизменным остаётся лишь одно – в состав супа обязательно входит цежа – квас из ржаной или овсяной муки. Именно она придаёт супу приятный кисловатый привкус и делает жур самобытным польским блюдом. Ещё одной особенностью приготовления настоящего польского жура является отдельная подготовка ингредиентов, все продукты объединяются лишь в самом конце. Иногда жур «собирают» уже в тарелке. Слово «жур» переводится как «гуща», а само блюдо в виде похлёбки из овсяной муки издревле известно многим народам, но только поляки догадались добавлять в такую похлёбку ферментированную муку, обеспечив супу необыкновенный вкус.

⁵ Камрадов – товарищей. Искаженное от немецкого Kamerad (камерад) – товарищ, приятель.

О чем бы он ни рассказывал, держался войн как знакомых тропинок. Когда кто-то другой что-то рассказывал, дедушка всегда спрашивал, после которой или перед какой войной это было. Не календари, не святые, войны определяли дедушкину память. Войны были выше времен года, а уж над войнами был один Господь. Время, если верить дедушке, текло от войны к войне. И пространство тоже определяли войны, причем, намного точнее, чем карты. Все происходило там, где шли войны. И все после той, перед той, уже после той, перед той еще или еще более ранней. А помнил и ее, самую раннюю. Помнил, что его отец, то есть прадедущка, на ней был и тоже получил рану, только не в живот, а в голову. По памяти прадедущки помнил и такую, которую прадедущка помнил по памяти своего отца, то есть дедовского дедушки, и звалась она «ну, еще перед той, той, когда ни вас, ни меня не было на свете».

Пан, послушай он дедушку, заблудился бы в тех войнах. А так тихий был, беспомощный. Не то что руки, пальца бы пан не дал на отсечение, что он мог быть солдатом. А тем более, что кого-то там убил. Курицу убить не мог. Бывало, положит голову ее на пенек, принесет топор и стоит так, стоит, пока кто-то из дома не выйдет, не возьмет у дедушки топор и не опустит его тотчас же на шею бедной курице. Или постоянно ругался на кротов, что луг роют, роют заразы, роют, скоро и луга того не будет, одни кротовины от него останутся. Пошел как-то с лопатой, стал над одной из кротовин и видел ведь, что крот под ней роется, чуть не скачет, а что-то все-таки не давало дедушке, как он сам потом говорил, вколотить лопату в кротовину. Как будто ждал, чтобы крот поверил, что ничего ему не угрожает, и поднялся бы повыше. Затаил дыхание, чуть ли не в столб превратился, вот-вот должен был вбить лопату, «пора» сам себе приказал, на, теперь втыкай, а что-то не дало ему. Попал бы, наверное, крот уже чуть не рылом из норы выглянул, разрубил бы его надвое, как пить дать, лопата, как бритва наточенная, он ее раньше отбил, а что-то не дало ему. Из всей силы себе приказывал: теперь, теперь. Но видно, сила, что не дала ему, была сильнее.

Как-то крот вылез из-под кротовины и стояли они, дедушка против крота, а крот против дедушки. Дедушке тогда почудилось, словно он не крота должен убить. И сказал он:

– Живи себе, Божье создание. Уж выдержит луг как-то.

Даже в молодости, на праздниках, забавы ради, – никогда дедушка не дрался, хотя бились тогда, и не раз. Стенка на стенку. Но он – даже за бабушку не дрался, несмотря на то, что ее у него постоянно от танца к танцу уводили. Садился себе тогда где-нибудь на скамье, а бабушка танцевала. Ему лучше было смотреть, как она с кем-то танцует, чем лупцеваться за нее. Нет, рослый был, сильный как конь, в молодости видный был парень. Только, как я говорил, тихий, беспомощный, словно его собственная сила обессилила его.

– Ой, как танцевала, как танцевала, вы бы не узнали ее, – вспоминал порою с гордостью. – Оберек⁶ просто в воздухе кружила. Смотрел – да где же ее ноги, они же земли не касаются. Как можно было на нее сердиться? Натанцует, оттанцует, а все одно, знал я, – моей будет.

У дедушки уже была повестка на войну, когда сыграли свадьбу. Дедушка не хотел, кто знает, вернется ли он. Но бабушка посчитала, что невеста суженого иначе ждет, не так, как жена мужа. И повела дедушку к алтарю. Будет знать теперь, как воевать, когда у него уже есть жена. Совсем по-другому будет радоваться, когда вернется, потому как должен вернуться, иначе, если бы не вернулся, так прокляла бы Бога.

И, чтобы бабушка не прокляла Господа, такая сила нашла на дедушку, когда он почувствовал штык в животе, что убил и того, кто ему вколотил этот штык, и двух его камрадов. А помнил их, словно вчера это было. Который ударил его этим штыком, худой был, неприметный, шинель – будто сама по себе, и пустая каска. Вместо рук – рукава шинели и словно не он, а эти рукава вбили дедушке штык в живот. Дедушка уже рот открыл, потому что хотел сказать, не убивай. Я должен вернуться. И ты должен вернуться. А должен был

⁶ Оберек – польский быстрый танец.

его убить. И не штыком убил, не пулей, а той огромной силой, которую вместо боли почувствовал в себе. Сжал того руками под каской и положил на землю. Так же и тех двух его камрадов. Они даже на колени встали перед дедушкой, но он уже не мог удержать в себе эту большую силу. Одного – под каской и на землю, и другого – под каской и на землю. И только когда их убил, отпустила его эта сила. Сел у их тел и заплакал. Только тогда почувствовал боль в животе от штыка уже убитого им.

Но даже они никогда дедушке не снились. И пусть бабушка объяснит ему, что бы это значило, ведь если войны определяют человеческую жизнь, то и сны людские должны определять. Разве он прекратил быть человеком? Пусть ему объяснит. Но бабушка только злилась на дедушку:

– Что я тебе объясню? Что ты хочешь, чтобы я тебе объяснила? Пусть они тебе сначала приснятся.

Хотя, скажу пану, подозреваю, должна она была знать, что есть такая дыра из ночи в ночь. Может, просто не хотела огорчать дедушку, потому что в каждом сне, даже в самом ужасном, всегда искала утешение. При том богатстве снов, что она носила в себе, не могла не знать. Поэтому огорчала она дедушку. Но и Господь его огорчал, почему не хочет наделить его такой своею милостью, как сны, когда других наделяет самыми разными милостями. Осерчал на него за тех трех, убитых? Но ведь, как Бог, должен знать, что на войнах убивают. И должен понимать. Столько войн с тех пор, как создан мир. Он же сам и создал его, но ни одной войны не задержал своим всемогуществом, включая и ту, дедову, и трех им убитых. Ну, и кроме того, раз руководит миром, то руководит и войнами, и тогда получается, что не будь на то Его воли, не убил бы дедушка. За что тогда карает его?

Лушили фасоль, как начнет о войнах, – без конца, пока вся фасоль не выйдет. Как-то, помню, рассказывал, что встретил философа. Нет, тот не из этих трех убитых. Если бы какой-то из них, не знал бы ведь, что убил философа. Когда убиваешь, никто тебе не представляется.

И еще – где-то ходят стрелковой цепью на стрелковую цепь, где-то – штык на штык. Вот та война была из тех, где все больше штыками убивали. Выскакивали из окопов и – урра! Потом возвращались в окопы, а между ними росла гора убитых тел. Не раз неделями война стояла в одном месте и когда не убивали, так часто даже дружили. Того не скажу пану. Надо было бы пану у дедушки спросить. Я ведь ребенком слушал. А ребенок всему верит.

Почему я не должен был в это верить? Пан не пережил ни одной войны? Это – счастье для пана. Но, одновременно, я и сочувствую ему. На войне и не такое возможно. На войне возможно все. Война перемешивает, уравнивает всех в правах, крестьянин или философ – все могут погибнуть. И каждый с каждым может встретиться. Где бы, при другом раскладе, могли бы встретиться крестьянин и философ?

Так что когда не бились, особенно по ночам, известно, ночами в штыки не с руки ходить, а частенько не бились по несколько дней, потому что не было приказов, выходили из своих окопов, а те – из своих. Сидели среди этих переколотых тел, угощали друг друга табаком, водкой, меняли друг у друга разные вещи, порою играли в карты. А почему нет? В очко, например, можно и в темноте играть. Достаточно прикурить папиросу, ее огонек светится и карту видно. Порою пели песни, случалось, что и те, и другие – на одном и том же языке.

Ну, и как-то, тоже ночь была, дождь моросил, все сидели по своим окопам, укрывшись под натянутыми над ними палатками. Вдруг видит дедушка: кто-то вышел из того окопа, стал между телами и лицо к небу повернул, как бы собираясь собрать весь дождь на свое лицо. Дедушка тоже вышел, и так же поднял лицо к небу, подставил его под этот дождь.

Тот тогда спросил: не голоден ли дедушка. А у дедушки аж сосало в животе от голода, потому что у них даже сухарей, и тех не было. Тогда тот вернулся к своему окопу и при-

нес консерву. Сели они себе, открыли ее и начали есть. Пан, наверное, понимает, – этими самими штыками, которыми кололи друг друга.

Не осмелился дедушка спросить, с кем он ест. В конце концов – зачем? И того достаточно, что тот принес эту консерву. А раз тоже в мундире, с той лишь разницей, что во вражеском, то дедушка даже подумать не мог, что ест с философом. И так ели они, склонившись к банке и закрывая консерву от дождя. Тот ничего не говорил. А дедушка, что правда, любил поговорить, правда, больше всего о войнах, как я уже говорил пану. Но еще и о войне говорить, когда они и так на войне, сидят, едят среди убитых? Так-то их убирали, но только раненых, убитых – только когда фронт тронулся.

Поэтому дедушка начал с того, что похвалил консерву, мол, вкусная, да, вкусная, и не только потому, что у него в животе аж сосало от голода, просто любил все хвалить. День, ночь, жизнь, людей, Господа нашего. Такой уж у него был характер. Тот ему и ответил, мол, пусть тогда дедушка доест всю эту консерву до конца. И из благодарности разговорился дедушка, стал рассказывать о себе. Что оставил дома молодую жену. Что хотел бы к ней вернуться. Что у него три коровы, два коня, моргов⁷ столько, а столько – луга кусок, леса кусок. Что сеет, пашет и так изо дня в день. А осенью, зимой большей частью фасоль лущит, ее и сажают столько, чтобы хватило лущить на всю осень и зиму. Все сядут, лампа светится, тут же лущат, тут же разговаривают. Вернется, так расскажет и об этой войне, и о том, как вместе эту консерву ели.

Тогда тот сказал, что завидует дедушке. Правда, лущить он не умеет, но хотел бы лущить. Все лучше, чем заниматься тем, чем он занимается, особенно, если учесть, что людям от того – никакой пользы. Тогда дедушка спросил его, а чем он занимается. И тот представился дедушке, что философ. Имя назвал, фамилию. Всю оставшуюся войну повторял дедушка про себя те имя и фамилию, чтобы не забыть, когда вернется. Хотелось ему хоть памятью отблагодарить за ту консерву. Но забыл, к сожалению. Как пан сказал, кто это был? Пан уверен? Пан его знал? Вот досада-то, что не дожил дедушка. Пан бы ему напомнил.

При любом раскладе о войнах дедушка мог рассказывать без конца. А уж особенно, когда лущилась фасоль, дедушкина память, словно настезь раскрывалась. То ли в войнах такая сила, то ли в фасоли, что они любую память открывают до самого доньшка. Просто складывалось впечатление: войны любили, когда о них рассказывали за лущением фасоли.

А знает пан, я не раз задумывался, на самом ли деле дедушка убил тех троих. Может, он себе только представил, что убил, в надежде, что благодаря этому хоть они ему присятся. Пробовал таким способом как-то помочь себе, что-то изменить этим, а то никогда и ничего не видел во сне. Как я говорил, он чаще всего в войнах искал поддержку, во всех

⁷ Морг – мера земельной площади, 0,56 га. Используется не только в Польше, но и в Литве и Латвии. Причем с моргами последней связана очень интересная история. Когда Советская Россия, в одностороннем порядке денонсировала Брест-Литовский мирный договор и начала своё наступление в Прибалтике, то противостать ему, и, соответственно, Красной Армии, было некому и нечем. Своих вооруженных сил у Латвии ещё не было. В создавшейся ситуации у правительства Ульманиса не было иного выхода, как опереться на имевшиеся практически под рукой силы 8-й германской армии, с командованием которой, в лице Августа Виннинга, 29 декабря 1918 года был заключен договор о том, что Латвия принимает на службу немецких добровольцев и тем из них, кто прослужит в латвийских частях не менее 6-и месяцев, обещает не только гражданство нового Прибалтийского государства, но и – что более важно... Земельные наделы! Каждый германский доброволец, подписавший контракт о военной службе не менее чем на 6 месяцев, должен был получить 80 моргов земли для поселения.

Обещание свое латвийское правительство так и не выполнило. Но кто об этом мог знать в самом начале 1919 года? Поэтому бывшие солдаты и офицеры 8-й армии, которых в Германии не ожидало ничего хорошего, кроме послевоенной безработицы и нищеты, в надежде на лучшую долю и латвийскую землю начали записываться в латвийские добровольческие части в массовом порядке. Толпами! В результате удалось сформировать не только «Железную дивизию», но и «Немецкий легион». Эти части и составили тот основной костяк, который за и вместо латышей воевал за их свободу. Вот так в 1919 году, благодаря исключительно только обещаниями каких-то жалких 80-и моргов, Латвия не стала Советской...

своих делах. Даже когда хотел себя или других утешить, всегда вспоминал что-то из военного. Не обязательно из той войны, на которой был. Из другой, более поздней, которая потом была, или той, когда его еще и на свете не было.

Как-то на пастбище слышал, что пацаны шепчутся между собой, будто дядя Ян – не дедушкин сын, потому что родился вскоре после его возвращения с войны. Хотя я и не замечал никогда, чтобы дедушка проводил какую-то разницу между сыновьями. И по дяде Яну не было видно, чтобы не чувствовал себя дедушкиным сыном. А когда повесился, так дедушка больше всех переживал.

– Как не мой сын, как не мой сын, – все повторял. Другой раз, опять же, сказал: – Никогда даже не приснится человеку, что его сын когда-то повесится. Жаль, что тогда такая сила на меня нашла, и не дал я им, всем троим, заколоть меня штыками. Три штыка, не должен был бы я до этого дожить. Эх ты, сын, сын мой. Когда бы хоть на войне, не так жалко было бы.

Как же оно на самом деле было – кто знает? Нет уже ни дедушки, ни бабушки, ни дяди Яна. А порою мне даже кажется, словно уже никого нет. Может, и меня тоже? Не раз пробовал я это уяснить – ну, хотя бы для себя самого – есть ли я? Или нет меня? Только для себя самого человек не является свидетельством. Всегда кто-то другой должен засвидетельствовать. Сам к себе человек слишком снисходителен. Как может, сам себя защищает. Петляет, меняет, обходит, чтобы не дальше, не глубже и не там, где он что-то скрывает. Сам перед собой каждый хотел бы выйти как на свадебной фотографии. Причесанный, выбритый, в костюмной паре, при галстукe, солидный, улыбающийся и чтобы хорошо выглядел.

Ну, и как можно моложе. И, как ни странно, верит, что это – он. Только, если бы он честно в себя всмотрелся... Каждый на свадебном снимке, пан знает, счастлив. Голова к голове, плечо к плечу, словно в маковой коробочке – одно зернышко нашло другое, точно такое же. Если бы человек верил в предназначение, мог бы подумать, вот фотография предназначения. А что потом происходит, того пан уже ни на одной фотографии не увидит. Нет ни таких фотоаппаратов, ни таких фотографов. Может, когда-то и будут, не знаю. Но пока и доньше все брачные снимки все время счастливы. И сколько таких счастливых снимков висит по домам. Хотя, скажу пану, так я думаю: или счастья вообще нет, или оно – только на свадебных фотографиях.

У того в домике тоже висел свадебный снимок. А, я же пану не закончил... В общем, когда той ночью разбудил меня крик, решил я пойти проверить, что там делается. Ночь темная, хоть глаз выколи, все звезды тучами закрыты. Тишина такая, что собственные шаги в ней раздаются, – будто невеста сколько ног топчет. Уж на что собачья поступь легкая, а и ту – слышно. И вот хожу я между домиками, прикладываюсь ухом к стенам, где окна приоткрыты – засовываю вовнутрь голову. Но везде спят самыми крепкими снами, из некоторых домиков даже храп доносится. Я уж подумал, не приснилось ли мне. И вдруг собаки начинают меня куда-то тащить. Что такое? Я – за ними. И у одного из домиков, вижу, белеет чье-то тело. Совершенно нагое, словно только что Господом созданное. Женщина. Я наклонился, она не подает признаков жизни. Посветил ей в лицо фонариком, а оно все – в крови.

Взял я ее на руки, принес к себе. Положил там, в комнате, обмыл ее. Она была сильно избита, вся в синяках, и сейчас, когда рассказываю об этом, волнуясь. Я укрыл ее одеялом, укутал, потому как она вся дрожала. Сделал ей чаю, так она не могла пить, губы у нее были разбиты и опухли. Я должен был чай ей в рот вливать ложечкой, а другой рукой поддерживать ее голову, потому что сама она не могла ее держать. Когда открыла глаза, они показались мне безжизненными. Что-то начала говорить, наклонился я над ней, но услышал лишь ее напуганный шепот:

– Кто вы?

– Пусть пани заснет, – сказал я. – Сон ей поможет.

Но она так и не заснула, потому что каждый раз, как я засыпал, меня будил ее плач, что доносился через стенку. Или может, это только привиделось мне во сне, что она там плачет, а это меня мой сон будил. Утром я пошел за ее одеждой к тому, у домика которого нашел ее. Он сначала отпирался, мол, он тут совершенно ни при чем.

Да такое невозможно. Я же не раз видел его жену. Но сейчас она не приехала, плохо себя чувствует. Вот, прошу посмотреть, наш свадебный снимок, разве пан не узнает. А такой – вообще не знает. Еще и снотворное выпил, так что даже не слышал, чтобы кто-то кричал. Наверное, в другом домике. Пан перепутал. Нет, у его домика я ее нашел, говорю. То, наверное, кто-то по злобе ему подбросил. Должен пан знать, говорит мне, кто сюда приезжает и что здесь творится, пан ведь присматривает.

Если бы не собаки, до конца бы на своем стоял. Но собаки начали вытаскивать из-под кровати разную женскую одежду – нижнее белье, кофту, юбку, туфли. Представляет пан, в какое он попал глупое положение? А он только засмеялся:

– В каком мире живешь, чудила? Что такой старорежимный? Если так уж ее жалко – забирай! Я и так собирался ее поменять.

Пивом еще хотел меня угостить. Но собаки ошетинились, и мне надо было их успокаивать, тихо, Лапша, тихо, Рекс, а они только и ждали, чтобы я дал им знак.

– Может и не современный, – ответил я ему на это. – Но если еще раз что-то такое случится, подожгу к лешему домик. И даже знать — не узнаешь, кто это сделал, потому как сгоришь вместе с ним, – и вся недолга.

– Не лезь не в свои дела! – взвился.

– Все дела — мои, – сказал ему спокойно.

– Присматривать мы тебя наняли.

– И для этого – тоже.

4

Нынче, как и всегда, по окончании сезона, день от дня почти не отличается. С утра, как и любой после того, как встанет, я умываюсь, одеваюсь. Хотя, скажу пану, как подумаю, что весь мир встает вместе со мной, моется, одевается, не раз мне хотелось вернуться, снова лечь в кровать и на этот раз уже не вставать, вообще не вставать. Словно какое-то проклятие висит над человеком, ежедневно надо ему встать, умыться, одеться. Уже от одного этого, невзирая на то, что день только начинается, у него могло бы пропасть желание радоваться всему, что обещает ему наступающий день, всему, что в этот день может случиться. Или не случиться. А теперь пусть пан представит себе, что так – всю жизнь. Сколько раз надо встать, умыться, одеться... И – зачем?

Понятно, я про ту часть нашего мира, на которой день только начинается. Ведь на другой, когда мы тут встаем, умываемся-одеваемся, раздеваются, умываются и ложатся в постель, а нас это ждет лишь под конец дня, когда им только предстоит все то, что мы с утра уже прошли. И из этого круговорота хорошо видно, что мир наш вертится, но никуда не направляется.

Поэтому именно с утра я для себя делю этот мир на две части, потому как под вечер уже нет никаких частей. К вечеру человек словно разваливается на куски. А с утра он весь еще целехонек.

Нет, прежде всего, мне нужно собак накормить. Собаки все свое должны получить вовремя. Особенно с утра. Даже если бы не мог встать, должны получить.

Здоровый ли, больной ли, должны получить. Первый раз с утра получают, другой – попозже обеда. Приходит время, когда должны получить, так сами мне напоминают. Ложатся и смотрят на меня. С утра проснусь, а они уже лежат, смотрят на меня.

И как тут не встать, даже если и не хочется или не видишь цели, ради которой стоило бы вставать. В их глазах не голод, осознание того, что сейчас получают свою еду. И как тут

не встать? Скажу пану, я, наверное, уже и не могу без них. Не раз мне казалось, что без них и день не хотел бы начинаться, не хотел бы и заканчиваться.

Потом мы идем посмотреть, что там, в домиках. Потом то или это. По-разному. Зависит ото дня, но по преимуществу – по привычному кругу. Иногда сяду в автомобиль и поеду что-то купить. Да, у меня есть автомобиль. Время от времени ведь нужно съездить что-то купить. А при необходимости – на почту, в банк. Так-то больше никуда не езжу. Не к кому, некуда, да и незачем. Ну и здесь, на месте, всегда есть какая-то работа. Постирать, погладить, помыть, поменять, прибраться. А если и не надо ничего делать, так у меня есть таблички. Они тоже немало времени отнимают. Хотя я их не каждый день подновляю. Когда руки к этому делу не лежат, когда болею. У меня нет твердой установки, чем я должен заниматься в тот или иной день.

Я начинаю день, как будто ничего от него не хочу, что принесет, то принесет. Но и не жду, что он мне что-то принесет. Присмотр за домиками – он, скажу пану, и определяет весь мой дневной распорядок. Только по этим домикам и вижу, что день не стоит на месте.

Вроде бы как сейчас, осенью, день должен становиться все короче и короче, а, несмотря на это, кажется мне, что с каждым разом он тянется все дольше и дольше. Сколько раз, как проснусь утром и подумаю, что еще надо до вечера дожить, у меня сразу такое ощущение, что снова всю жизнь надо прожить. От самого рождения и до смерти. Не знаю, чувствовал ли пан когда что-то такое, но с каждым разом день прожить – все труднее и труднее. Нет, речь не о том, что длинный. Как бы сказать пану... Ну как сегодня. День, как день, а в нем – вся жизнь.

Вечерами я немного читаю, немного слушаю музыку. Нет, телевизор почти не смотрю. Собаки не любят. Включу, шерсть поднимают дыбом, рычат. Приходится выключать. Если бы мог, я бы играл. По мне, ничего так не примиряет жизнь со смертью, как музыка. Уж поверит мне пан, я ведь всю жизнь играл, знаю.

Да, у меня даже три саксофона есть, я привез с собою. Сопрановый, альтовый и теноровый. На всех трех я играл. Они там, в комнате. Хотел бы пан посмотреть? Может, позже? Сначала закончим с этой фасолью. Я и флейту привез, кларнет. Иногда, на подмену, играл и на рояле. Но мой инструмент – саксофон. Закончил ли я какую-то школу, пан спрашивает? Это зависит от того, что пан понимает под школой. По-моему, закончил, и не одну, хотя и нет у меня никаких аттестатов. Ну почему, чтобы что-то уметь, обязательно нужно годами сидеть за партой? Достаточно того, что хочется уметь. А я с детства хотел.

Начал на губной гармонике, я ее получил от дяди Яна. Как-то сидели мы с ним на краю леса под дубом, и дядя играл. Здорово играл. Даже отрывки из оперетт играл. А тут упал с дуба желудь, да прямо дяде на голову.

Он перестал играть, посмотрел вверх и сказал:

– О, может даже и на этом дубе.

– Что на дубе? – спросил я его.

– Повешусь, – сказал. – Только ты пока не говори об этом никому.

Приложил опять губную гармонику ко рту, но протянул ее по нему безо всякого звука и задумался.

А после этого дал мне гармонику и сказал:

– На, бери. Мне она будет уже не нужной. А жаль, если пропадет даром. Добрая была гармоника.

Тогда я спросил его:

– Почему дядя не хочет жить?

– Что я тебе буду говорить. Все равно не поймешь. Сыграй лучше мне что-нибудь.

– Я еще не умею, дядя.

– Не важно. Но я скажу тебе, будешь ли уметь.

Я начал дуть, передвигая губную гармонику вдоль губ, звуки же никак не хотели поладить друг с другом. Но, наверное, что-то дядя все-таки услышал:

– Ты научишься. Только тренируйся.

И я начал. Можно ли, по мнению пана, мою школу считать с тех пор? Пусть это будет не школа, всего-навсего детсад. Правда, тогда не говорили детсад. Говорили – детский очаг. И от того дуба начал я играть. Просто помешался на игре. Целыми днями играл. Я хотел, чтобы дядя еще послушал, как я играю, прежде чем повесится. Гнали меня в поле, а я убежал в лес и играл там. Даже если в дождь выгоняли меня из дому, потому что не могли уже выдержать этой моей игры, так я становился под навесом и играл. На деревья я лазил как можно выше, чтобы не могли меня оттуда достать. На лодку садился, Рутка меня несла, а я играл. Даже когда в уборную ходил, закрывался на крючок, доставал гармонику и играл. Никто не мог понять, что так долго можно делать в уборной. На мое счастье, уборная стояла за овином, поэтому не слышали, что я играю.

Нет, дядя Ян еще был жив. Словно ждал, чтобы послушать меня. Как-то он снова сидел под тем дубом, на краю леса, и я пошел к нему.

– Послушаете, дядя?

– А, сыграй, – и, слушая, как я играю, – о, не надолго тебе этой губной гармонике хватит. Потом выбери саксофон. Саксофона здесь никто еще не видел, так тебя обязательно будут приглашать на все праздники, свадьбы.

А может и куда-то дальше, выше. Саксофон нынче – самый модный. Саксофон – это весь мир. Скрипка, не буду спорить, – тоже, но это – цыганский инструмент. Нужно иметь цыганскую кровь, цыганскую душу. Как цыгане странствовать, как цыгане красть. Не цыган никогда так не сыграет. Играют и здесь на скрипках по селам, но какие из них музыканты. Выйдут скрипач, гармонист, барабанщик и играют все на один лад. Бум ца-ца, да бум ца-ца.. И иначе уже играть не будут, потому что здесь так всегда играли. Как жили, так играли и так же – умирали. Бум ца-ца, бум ца-ца. Должен появиться саксофон, чтобы что-то изменилось. Может, тогда начнут и танцевать иначе, и жить иначе. Был я как-то в городе на танцах, и был там, в оркестре, саксофон, так говорю тебе... Потом я увидел такой же в магазине, в витрине. Сбоку еще скрипка лежала. Были бы у меня деньги, которых никогда не было, купил бы. Чтобы самому научиться. Если захочешь, всему можно научиться. Но он – о-хо-хо сколько стоил. Много больше той скрипки, что сбоку. Не знаю, сколько бы за него нашей земли... Я оставлю тебе мою долю, может и хватит. А не то, откладывай. Кто знает, может раньше... Но это нужно такому, как ты.

Ну, и так сложилось, что после войны я оказался в этой школе. Это была не обычная школа. Лучшее тому доказательство, что актовый зал, который занимал целый барак, был завален музыкальными инструментами. Чего там только не было, пан не поверит. Какая музыкальная школа? Да нет, откуда. Горны, флейты, тромбоны, гобои, фаготы, кларнеты, скрипки, альты, виолончели, контрабасы. Были даже такие инструменты, которые только учитель музыки нам смог назвать, когда он, в конце концов, появился у нас.

Был и саксофон, альтовый. Правда, без двух клапанов, но, если приложить пальцы, как-то игралось. Некоторые инструменты были в еще худшем состоянии. Погнутые, потрескавшиеся, облезлые, с дырами от пуль, осколков, словно и они тоже воевали.

Но были и хорошие, полностью целые или, по крайней мере, такие, что достаточно было что-то там заварить, подварить, подклеить. Или от двух-трех взять, открутить, снять и к одному приладить, или перевесить с того на этот. Например, струны. Или от этого на тот переставить мундштук. И можно было играть. У нас были мастерские, поэтому можно было побаловаться таким ремонтом.

Кое-кто, как оказалось, умел даже немного играть на этом или на том инструменте. Но большинство никогда в жизни не сталкивалось ни с одним инструментом. Я, например, только что на той дядиной губной гармонике играл. Но, несмотря на это, когда к нам пришел учитель музыки, он сразу объявил, что сделает из нас оркестр. Такое, по-видимому, воспитательное задание дала ему школа. На наше счастье, он вскорости, вроде как, и забыл об этом.

Он вообще сильно не утруждал себя. Другое дело, не знаю, кто вообще смог бы хоть что-то сделать в этой школе из такого сброда, как мы. Об оркестре я уж и не говорю. Он же все больше ходил под мухой, а бывало, едва и на ногах держался. Иногда возьмет, заснет на уроке. Но если возьмет какой-то инструмент в руки, чтобы нам показать, как на нем играть, то играл и играл, часто пока урок не закончится.

По вечерам он проводил с нами занятия в актовом зале, но это зависело от того – под большим или меньшим хмельком он приходил к нам. Очень он переживал над тем или иным покореженным инструментом, как, мол, можно было его поранить. Потому как это – варварство. Любой инструмент, как и человек, – страдает. Каждая простреленная в нем дыра, каждая оборванная струна, каждый обломленный гриф – раны. Некоторые из этих инструментов, если ему поверить, просто по какой-то досадной ошибке попали в нашу школу, потому как их место, вообще-то, в музее.

Но ведь может, именно из музея их и привезли, должны были куда-то в другое место отвезти, а почему-то привезли в нашу школу. Пан разве не помнит – тогда все привозили, развозили, отвозили, отсюда туда, оттуда сюда или откуда-то куда-то. Не только инструменты. Машины, животных, людей. Мебель, постель, горшки, тарелки. Мы порою выходили на станцию, так товарный шел за товарным, и каждый – полным-полнехонек самого разного имущества. Пассажирские – так редко, а вот товарные – один за другим. Может так после каждой войны, потому что все возвращается на свои места, невзирая на то, что война и места изменяет, заменяет, а некоторые места вообще даже искать не стоит, потому как нет их уже. Как-то приехала машина и привезла арфу, клавесин, виолу. Мы не знали, что это за инструменты, спросили его, а он заплакал. У арфы не было половины струн, в клавесине осталось всего несколько клавиш, а виола была продырявленной, словно кто-то в нее стрелял. И с того случая мы полюбили его. Его одного из всех учителей. Несмотря на то, что он, как я уже говорил, почти постоянно ходил или хмельным или уж сильно пьяным.

Всегда носил с собой такую плоскую бутылочку. Вот здесь, в кармане на груди. Не стеснялся, что он учитель, и не раз бывало – вынет при нас, сделает глоток-другой:

– Прошу прощения, парни, мне надо.

Все учителя вели себя, как военные, а нас считали за новобранцев. Кроме него одного, все ходили в мундирах, без звездочек, но с погонами, затянутые в военные ремни. Говорили даже, что носят в карманах пистолеты. У нас, учеников, тоже были мундиры, не то черные, не то темно-синие, ботинки, подбитые гвоздями, пилотки, а на пилотках металлические значки, словно солнце в полукруге восходящих лучей. Что, как нам объяснили на воспитательном уроке, должно было значить восходящий новый, лучший мир. И что этот мир прямо перед нами. Мы должны научиться только вере, несокрушимой вере. И для этой веры мы здесь, в школе.

Кроме того, нас учили по специальностям. Каменщика, штукатура, столяра, кровельщика, токаря, слесаря, фрезеровщика, сварщика, механика, электрика и несколькими другим. Каждый вроде как сам мог выбрать, какой профессии хотел бы учиться. Но на деле оно было не совсем так. По итогу все зависело от того, сколько в школе было мест по той или иной специальности.

Жили мы в бараках и были разделены на дружины. В каждой дружине был командир – дружинный, старший по возрасту и самый сильный, а над ним в каждой дружине стоял еще учитель-воспитатель.

Я с самого начала научился немного играть на горне и весь год играл с утра побудку. После побудки – умывание, завтрак, ячменный кофе без молока, хлеб со свекольным повидлом. Потом построение в две шеренги на плацу, проверка, приказы. Ну и, обычно, нескольких – к ответу за какую-то провинность. Потом на уроки, каждая дружина в отдельный зал, или в мастерские на занятия. А два раза в неделю – выход на работы, с лопатами, с кирками и песней в полный голос.

Что делали? О, тогда было что делать. Тем более, в том месте, где располагалась наша школа, фронт стоял несколько месяцев. Мы засыпали бункера, окопы, воронки от бомб или снарядов, некоторые из них такие огромные, что пан и представить себе не может. Пан видел? Ну вот именно. Мы ремонтировали дороги, конечно, грубо, но хотя бы проехать было можно. Или дробили камень для этих дорог.

Разбирали остатки стен разрушенных зданий, которые могли обвалиться. Или мосты на реках, если их уже невозможно было отремонтировать. Ремонтировали дамбы, разрушенные танками или раскопанные, чтобы смогли проехать машины, пушки. Как это обычно и бывает после войны. Дождь, не дождь – мы работали, потому что, как нам говорили, мы должны закаляться. Должен пан понимать, что и зимой работали. Очищали от снега дороги, железнодорожные пути.

Что касается учебы, то были между нами и такие, которые во время войны ходили в тайные, подпольные школы. Были и такие, что семь классов отучились. Но большинство ни читать, ни писать не умело. Некоторые если и умели, то забыли за войну. За войну не только чтение и письмо можно забыть. Самого себя можно забыть. И забыли. Не знали, откуда они, как их зовут, где родились, когда. Вот такой послевоенный сброд, как уже я говорил, без дома, без родителей, без матерей, кое-кто и с нечистой совестью. К тому же все мы были разных возрастов, старше, младше, некоторые вообще – дети еще. Хотя так, в действительности, никто уже ребенком не был. Не дано было нам быть детьми, даже если кто-то о том и сожалел.

У нас была не обычная школа, немного школа, а немного этакое военизированное училище для подростков. Как и в армии мы докладывали, рапортовали, а за самую небольшую провинность – бегом до того дерева, да еще, как правило, с чем-то тяжелым. Или в мундире, в ботинках – в воду по самую шею. Или столько-то и столько-то отжиманий. А за большие провинности – в карцер, на хлеб и воду. И докладывать учителям надо было и не как в школе, пан учитель, а гражданин учитель, коменданту – гражданин комендант. Поэтому мы не чувствовали себя обычными учениками. Мало кто хотел переходить из класса в класс. В конечном счете, этот переход был не таким уж и важным. Всех нас уравнили, очевидно, считая, что война у всех стерла те знания, которые и были у кого-то до ее начала. Поэтому учеба у всех нас началась с азов.

Может, в этом и был какой-то смысл, потому как, если бы пан пришел к нам на какой-то урок и послушал бы, как мы читаем по слогам, посмотрел бы наши тетради, как безграмотно мы пишем, не знаю, смог бы он разобрать, кто из нас что-то уже закончил, а кто только начинает учебу. Так, несколько уроков подряд мы писали собственные имена, фамилии. И то, даже в них делали ошибки. А письмо, не чтение, было у нас более важным уроком.

Если же о профессии, я для себя выбрал специальность сварщика. Не знаю, почему мне в голову запал этот сварщик. Никогда ведь не видел, как варят. Видел только в кузнице, как железо куют. И как-то раз услышал, что кузнец кому-то говорил, мол, не справится, нужно бы заварить. Но через год оказалось, что на такое количество желающих в школе очень мало сварочного инструмента. А тот, что есть, еще и постоянно ломается. Не говоря уже о том, что все время надо было ждать и ждать баллонов с кислородом, когда их привезут.

Поэтому меня перевели на электрика. Электриков школа могла обучать без ограничений, потому что как раз начиналась электрификация села. Так же, как и при выборе сварщика, когда у меня даже понятия не было, как варить, точно так же я не знал, что это такое – электричество. Откуда? Единственный свет, который я тогда знал, так это солнце и керосиновая лампа. Правда, дядя Ян говорил, что в городах даже улицы освещены электричеством. А в домах, так уже везде. Когда его спрашивали, что это за электричество такое, говорил, что светит много ярче, чем керосиновая лампа. Не нужно керосин доливать, стекла чистить, фитиль подрезать, есть контакт на стене, только поворачиваешь его и — светит.

Почему меня направили на электрика, а не на каменщика, столяра, к примеру? Потому как, выбрав сварщика, я должен был сдать экзамен по подъему на столб. Сварщик ведь часто должен был варить на высоте. Вот и проверяли, как кто чувствует себя на высоте: нормально или у кого-то начинает кружиться голова. На плацу у нас стоял столб, высокий, окоренный, до блеска отполированный этими экзаменами. Я моментально залез на самую верхушку. Может, и дальше бы лез, но снизу начали кричать:

– Слазь! Выше столба — не надо! Хорош! Слазь!

Да что там для меня этот столб! Я на любые деревья в лесу залезал. На самые высокие тополя по-над Руткой. А на тополя, чтобы пан знал, труднее всего залезать. Особенно, когда тополь высокий, стройный. А я только на руках подтягивался, босыми ногами опираясь о ствол, и никаких страховочных ремней у меня не было. Поскольку на электрика тоже нужно было сдавать экзамен на этом столбе, ведь электрики даже чаще сварщиков работают на высоте, признали, что я одинаково хорошо могу быть что электриком, что сварщиком.

Мне все равно было, сварщик, электрик. Единственное, что держало меня в школе, так это то, что я мог учиться играть на саксофоне. Иначе убежал бы, как другие убегали. Иногда их ловили и заставляли, чтобы дальше учились, но порой они пропадали без вести. Меня наверняка не поймали бы, я знал, куда убежать.

Почти каждый вечер ходил я в актовый зал и тренировался, играл. А, надо понимать, мы, после того, как целый день сравнивали окопы, возвращались уставшие, словно эти — ну, которые в пекле (не к ночи будь они помянуты!), сон нас валил с ног, поэтому обычно парни даже без ужина, не умываясь, падали и в момент сразу же засыпали, а я — в актовый зал. И играть. Руки от лопаты были мертвые, рот пересыхал от жажды, потрескавшиеся губы меня не слушались, но хоть немного я обязательно должен был поиграть.

Иногда приходил учитель музыки. Садился и слушал, раз за разом прихлебывая из той своей плоской бутылки. Порой поправлял меня, что-то подсказывал или, по крайней мере, оправдывался, мол, не будь он таким пьяным... Но поскольку, по мере того, как прихлебывал, и с каждым глотком становился все пьянее и пьянее, то под конец уже только бормотал:

– О, упрям ты, упрям. Но музыка любит упрямых. Может, она когда-то и отблагодарит тебя за это. Только не прекращай. Не переставай играть. Не всегда воздастся, но, может, хотя бы тебе. Может, тебе повезет, и встретишь счастье. Потери еще будут, и не раз. Да такие, что после них и жить порою не хочется. Но, может, хотя бы тебе... Не переставай. Хорошо бы, если когда-то ты встретишь лучшего учителя. Не пьяницу. Настоящего учителя. Прости меня, хлопче, но я должен. Надеюсь, ты — не будешь должен.

Случалось даже, что засыпал с бутылкой в руках. Я вынимал ее из них и засовывал в тот карман, в котором он ее носил. Он просыпался, усмехался и снова засыпал. Я будил его, просил, чтобы он шел к себе. У него была своя комната в бараке, предназначенном для учителей. Я тормозил его. Или пугал, что комендант идет. Но коменданта он боялся только трезвым. Пьяным, даже если мне и удавалось разбудить его этим комендантом, бросал какие-то проклятия, бормотал, словно я его разозлил:

– Да пошел бы он... Сам знаешь куда, хлопче. Уж ты прости меня.

И спал дальше. Более эффективным оказался горн, самой эффективной — флейта. Казалось, что флейта глубже всего проникает в это его опьянение. Поэтому я откладывал горн, если он не помогал, брал флейту и играл ему под самым ухом. Не громко, должен пан понимать. Уже через минуту он засовывал мизинец в ухо и начинал им там шерудить, словно свербило у него в ухе. Потом на его лице, все еще остававшемся с закрытыми глазами, появлялась, если я играл на флейте, улыбка. Если на горне, то какая-то гримаса. Потом открывался один глаз, с минуту он смотрел на меня с приязнью. После первого — другой, этот, как правило, глядел тяжело, в лучшем случае, безразлично. Иногда он грозил мне пальцем, но так, благодушно.

– О, ты упрям, – как правило, этот палец, покачивающийся вместе с пьяной рукой, не казался мне грозным. – Не переставай. Не переставай.

И доставал бутылку из кармана. Чаще всего в ней уже не было ничего, но он наклонял ее, выпцеживая что-то.

– Видишь, хлопче, — он тяжело вздыхал, как бы из-за пустой бутылки. – Видишь, до какого края я дошел. Но ты не переставай.

Но чтобы он дал мне отвести себя к нему в комнату, я прежде должен был его, такого пьяного, посадить за пианино. Такое у него было желание, мол, он должен сыграть хоть несколько тактов, только после этого мы пойдем. Но это никогда не заканчивалось несколькими тактами. Чаще всего он играл и играл. Несмотря на то, что был пьянее пьяного. Пан бы просто не поверил. А что самое удивительное, так руки... Руки у него сразу становились совершенно трезвыми. Создавалось такое впечатление, что он ими не играет, а словно гладит клавиши.

Руки у него были такие же, как и у пана: с худощавыми, узкими ладонями, длинными, тонкими пальцами. Смотрю, как пан лушит, и словно вижу его руки на клавиатуре.

Э-э, пан, скорее всего, когда-то лушил. Он уже лучше меня лушит. У меня руки – словно одеревенели. И близко не было бы у пана той ловкости, если бы он раньше никогда не лушил. Не так много мы и вылушили, а пан лушит так, что я глазам своим не верю. Может пан просто забыл? Когда с чем-то в течение многих лет не имеешь дел, можно и лушение фасоли забыть. Все можно забыть. Но совсем немного нужно, чтобы человек вспомнил. И я точно так же забыл. Поэтому и начал сажать фасоль, чтобы вспомнить. Хотя, как и говорил пану, не очень-то я люблю фасоль. Мог бы вообще и не есть ее.

Пан играет на пианино? Нет, я так, просто спрашиваю. У меня все еще стоят перед глазами эти руки, когда он пьяный сидел за пианино. Словно по отдельности – здесь пьяный, а тут, на клавиатуре, трезвехонькие руки. Возможно, он был большим музыкантом, кто знает. А что играл в такой школе – не пойми какой школе, как наша, так это – уже совсем другое дело. В жизни много людей – не на своих местах. Нет, играл не только на пианино. Любой инструмент мог взять в руки и играть на нем. Скрипка, флейта, виолончель, рожок, на любом. Конечно, если был не сильно пьян. Мне советовал, чтобы я посвятил себя скрипке. Саксофона он не любил.

– На саксофоне ты, самое большее, будешь играть в танцевальном оркестре. А скрипка, о, скрипка может высоко поднять тебя, мой мальчик. Ты рожден для скрипки. Уж я-то знаю.

Как-то вел я его, пьяного, одной рукой удерживая за пояс, а свою голову подсунув ему подмышку, так что он повис на мне. И он что-то бормотал мне в ухо, из чего мне удалось разобрать:

– Скрипка, скрипка, мой мальчик. У тебя сердце создано для скрипки. Твоя душа создана для скрипки. Ты добрый мальчик. Благодаря скрипке будешь милее Господу.

– Не знаю, захочет ли Бог меня слушать, – вырвалось у меня.

– Не говори так, – задержал меня всей инерцией своего пьяного тела. – Не думай так. Если Он кого-то и слушает, так только одних скрипачей. Скрипка – божий инструмент. Слов Он уже не слушает, не в силах. Слишком много их. И на разных языках. Вечности бы ему не хватило, чтобы выслушать все языки мира. А все это – в одной скрипке. В скрипке слова всех языков, всех миров, этого и того, жизни, смерти. А слов не услышать Ему, несмотря на все Его всемогущество.

Не знаю, может он мне хорошее дело советовал. Но я выбрал саксофон. Хотя, если подумать, кому и что может посоветовать пьяница, если он сам себе не смог помочь ни делом, ни советом. Может, даже вопреки Господу я выбрал саксофон, просто потому, что Он любит скрипку. Да, Господь к тому времени сильно мне задолжал. А он, когда был уже хорошо выпившим, всегда об этом Боге.

Как-то раз перед полным актовым залом начал о том, что новый мир нужно начинать строить не с кладки стен, штукатурки, сварки или остекления окон, а с музыки. Если бы, в

свое время, и Бог начал с музыки, то не нужным бы стал и какой-то там новый мир. Кто-то донес об этом коменданту. Комендант его вызвал, сделал, по всей видимости, внушение, да еще и пригрозил, мол, если не прекратит с этим Богом, вернется туда, где и был. На его счастье, все это он пьяным говорил. Конечно, знали, что пил. Но другого учителя музыки взять было неоткуда. Он один согласился работать в нашей школе. Такая у нас была школа. И инструменты, скорее всего, были конфискованы у каких-то угнетателей, кровопивцев, эксплуататоров и разной иной сволочи.

Я не понимал, о ком это, о чем речь. Так нам говорил воспитатель на уроке политвоспитания. Теперь они должны служить нам, потому что мы – будущее нового, лучшего мира. Мне тогда с трудом удавалось понять хоть что-то. Я всего боялся – людей, вещей, слов. Если мне надо было что-то сказать, на каждом слове запинался. Часто уже на первом не мог стронуться с места. Самое простое слово давалось мне с большим трудом, и каждое из них я не чувствовал своим. Чужими слова были для меня.

Когда все засыпали в общей комнате, я накрывался одеялом с головой и сам себе повторял шепотом эти, такие чужие слова, как бы заучивая их, привыкая к тому, что они – и мои слова. Случалось, на соседней кровати кто-то из ребят просыпался, дергал мое одеяло, спрашивал:

– Ты чего это сам с собою разговариваешь?

– Проснись, видно что-то плохое тебе приснилось. Ты разговариваешь во сне.

Нередко и на соседних кроватях просыпались, будили других. И кровать за кроватью смеялись, передразнивая меня, как я сам с собою разговариваю. Почему я это делал в кровати, да еще и накрывшись одеялом? Не знаю. Может, словам, когда они рождаются заново, нужно тепло. Я ведь, когда оказался в этой школе, был почти немой. Уже говорил немного, но мало, беспорядочно и без какого смысла. Когда кто-то спрашивал меня о чем-то, не мог ответить, хотя и знал, что надо ответить. Только благодаря тому, что я начал учиться играть, ко мне медленно, потихоньку вернулась речь, а за нею – и ощущение, что я живу. В любом случае, я уже так не запинался, и слов у меня начало прибывать, и все меньше я боялся этих слов.

И скажу пану, такая охватила меня жажда к музыке, что я решил на всех инструментах научиться. Даже на ударных. Бедными были те ударные. Барабан, один единственный бубен, тарелки, треугольник. Но частенько, когда я бил по ним, чувствовал, как что-то начинает во мне шевелиться, двигаться, словно начали идти какие-то часы, которые до этого стояли. Со временем я понял. Так вот, думаю, не только музыкой, но и самой жизнью правит ритм. Когда человек теряет в себе ритм, он теряет и надежду. Чем можно объяснить плач, то же отчаяние, если не отсутствием или недостатком ритма. И память, она тоже определяется ритмом.

Но больше всего я, конечно же, учился играть на саксофоне. И скажу пану, есть в саксофоне что-то такое, а ведь это было с самого начала, как только я повесил его себе на шею, взял мундштук в рот, а корпус обнял ладонями, уже с этого момента во мне появлялась какая-то надежда. Может, я даже плохо сказал, это было что-то более глубокое, как будто я заново рождался. Кто знает, может что-то такое есть во всех инструментах. Но я чувствовал это только с саксофоном. И уже тогда, в школе, я решил, что когда-нибудь я куплю себе саксофон. Обязательно. Должен купить, во что бы то ни стало.

Поэтому, когда после окончания школы меня направили электрифицировать села, с первой же зарплаты я начал откладывать на саксофон. Поначалу – совсем немного, так как и зарабатывал – мышьи слезы. Нет, я с самого начала стал самым что ни на есть настоящим электриком. Не то что, как говорится: подай – принеси. Работал я преимущественно на установке столбов под электролинии. Одна группа тянула линию по столбам, другая подключала к ней дом за домом. Уже позже меня допустили и к другим работам. Например, когда дом был каменным, нужно было штрабить стену под внутреннюю проводку, вот я и делал штрабы – такие канавки в стене, в которые потом укладывается провод. В домах было много лучше. Можно было что-то доделать, переделать, если возника-

ли какие-то затруднения. Хотя, каменных домов тогда было совсем немного. Иногда в них чем-то угощали, кружкой молока с хлебом, сыром. Или, если был сад, разрешали сорвать себе яблоко, пару слив, грушу. А у меня не раз от голода посасывало в желудке, особенно под конец месяца. Но каким бы наиголоднейшим не был месяц, я обязательно должен был отложить на саксофон. Даже если и знал, когда получал зарплату, что до следующей поллучки мне не хватит, на саксофон я обязан был отложить. Не раз появлялся у меня соблазн, чтобы из отложенного на саксофон взять хоть несколько злотых. Не на еду, нет. На еду даже не смел. Но, например, когда рубашка снашивалась или носки больше уже было не заштопать. Надвигалась зима и надо было подкупить чего-нибудь из теплого: кальсоны, свитер, ботинки. Естественно, мы и зимой работали. Только при сильном морозе – нет, тогда – по домам. Но когда мороз был небольшим, мы все одно вкапывали эти столбы, кирками вырубая промерзшую землю.

Я держал деньги на сеновале, в соломе, завернутыми в газету. Сеновал, скажу пану, наилучший тайник для денег. Еще и так, как мы меняли села, квартиры, – лучше всего на сеновале. На сеновале спали, уминали сено или солому своими телами, да кто бы и подумать мог, что там – деньги. Когда докладывал из следующей зарплаты, надо было долго искать их по всему сеновалу.

О, не раз меня так и подмывало одолжить у самого себя. Я даже вытаскивал прятку, отсчитывал из нее деньги, а сам себя уговаривал – можно. Ведь отдам. Могу даже с процентом отдать за те несколько дней, что остались до следующей поллучки. Это – только один раз. Клянусь, отдам. Только один раз. Ничего такого из-за одного раза не случится. И деньги-то – мои. Я сам у себя в долг беру. Когда берешь у кого-то другого, так это – совсем не то. У себя самого, так не должен был бы даже задумываться, мне бы, пожалуй, только эту неделю или месяц продержаться, не дольше. Как-никак, пока еще доверяю сам себе. Мои собственные деньги и я пока еще верю себе? Да хоть посчитаю, сколько поднакопилось? Хотя, я и знал – сколько. Каждый месяц, как докладывал, считал. Мне что повредит, если посчитаю, тем более, что уже решил не одалживать? От счета, правда, не прибывает, но поднимается настроение, что, по крайней мере, не убыло.

Считал, разглаживал мятые банкноты, раскладывал по кучкам – здесь сотни, здесь пятисотенные, здесь тысячи, каждую кучку заворачивал, используя под обертку одну из банкнот. То снова делил, но уже не по номиналу, а на равные суммы. Если мне казалось, что кучек очень мало, уменьшал суммы, чтобы было больше. Пусть пан мне поверит, есть в деньгах что-то такое, и если они пана затянут, то... Рано или поздно, но выйдет ему это боком. И останется у него только одно – считать и пересчитывать без конца. Я даже стал побаиваться – не будет ли и мне какого вреда от тех денег, что я на саксофон откладываю.

Один из электриков упал со столба, сломал руку, ногу и меня поставили на его место. Хотя и не было у меня еще нужного стажа, повысили квалификацию. О, я сразу стал зарабатывать больше, так что и саксофон с каждым разом становился все ближе. Начали меня допускать до сверхурочных, разрешать подработку на стороне. Я уже не вкапывал столбы, а подвешивал на них провода. А больше всего сверхурочных было именно на столбах. Планы были сильно сжаты, и пришло распоряжение, чтобы мы ускорились. Сразу сверхурочных стало намного больше. Прежде, чем столб вкапывался, на его верху устанавливались стеклянные или фарфоровые изоляторы. Потом тянули линию, закрепляя провод на этих изоляторах.

Несмотря на сверхурочные, желающих работать на столбах было немного. Большинство хотело выполнять проводку по домам. Поэтому линия должна была строиться быстрее, чтобы не задерживать подключение к ней домов. Из-за этого мы частенько сидели на этих столбах до самых сумерек. Другое дело, что на таком столбе, особенно без привычки, не усидеть долго. Ну, нет, кошки на ногах были, ими себя и удерживаешь. Что, пан никогда не видел электриков на столбах? Вся земля ведь уставлена такими столбами. Здесь, над заливом, тоже идет линия на столбах. Бетонных. А тогда столбы были деревянными.

Как пану объяснить, что такое кошки. Как серпы, полукруглые, снизу ремнями прикрепляются к ботинкам. Пан не знает, что такое серп? Никогда пан не видел?

В прежние времена серпами хлеб жали. На что серп может быть похожим? О, на молодой месяц. А в поясе еще перехватываешься страховочным ремнем, который охватывает и пана, и столб. Но, несмотря на это, нужно было иметь силу и в пояснице, и в ногах, чтобы без усталости – со столба да на столб. И так – весь день.

Большинство электриков было уже в возрасте, еще с довоенным стажем, многие из них хлебнули своего в военное лихолетье. Здоровье уже не то стало. Влезет такой на один столб, другой, а на третьем ему уже и ноги отказывают, поясница раскалывается. Как холодно, то и руки дубеют. Так-то рукавицы нам выдавали, но какая работа в рукавицах. И хоть сверхурочные часы оплачивались вдвойне, столбы оставляли молодым. Зато они отбивали себе вдвое при внутридомовой проводке. Так легко нам бы этих сверхурочных не отдали.

Ну и, кроме того, мало какой из них не пил. Ой, пили, так уж пили. Дома, на работе, дня не было, чтобы не пили. И на работе. Частенько – уже с самого ранья. А если не пьют, так со вчерашнего еще не протрезвели. Как в таком состоянии выходить на столб? А для меня выход на столб, как я уже говорил пану, – так раз плюнуть. Я мог весь день на этих столбах. Даже любил это. Нет, тогда я еще не пил. Меня саксофон защищал, мне хотелось больше заработать и больше отложить.

Может, они бы так и не пили, но почти в каждом доме выгоняли бимбер⁸. Его можно было заполучить в любое время дня и ночи. Только стукнешь в окно, а тебе уже из него протягивают бутылку с бимбером. Не говоря уже о том, что частенько именно им расплачивались за работу. Вообще, за самогон можно было все устроить. Люди уже не верили никаким деньгам. Настоящие деньги – это был бимбер. А что еще можно с самогоном делать? Пить! Вот и пили.

Но, должен признаться, несмотря на то, что пили, были классными спецами. Пьяным-пьянущие, а любую работу делали. То, чему меня в школе научили, так это – совершенное ничто, по сравнению с тем, чему я от них научился. Надо было только посматривать хорошенько в их сторону, когда они что-то делали. И слушать внимательно, не пропуская ни словечка. У каждого из них были свои секреты, но порою то один, то другой возьмет, да и проговорится, сам того не желая. Какие тайны? Так пан же не электрик, зачем ему об этом?

Ну, об этом нетрудно догадаться. Пан не знает, что такое кошки, не знает, что такое серп. Одно я скажу пану, специалист по двум-трем словам узнает другого специалиста той же самой профессии. Согласен, незнание – это то же самое знание. Но незнание не даст пану понять секреты электриков. Когда у человека нет никакой профессии, даже как человека его трудно понять. В любом случае, не раз, когда я приглядывался к ним за работой, у меня складывалось такое впечатление, что ток проходит через них, а совсем не по проводам течет. Не было такой аварии, которой бы они не устранили. Не было такой поломки, которой они бы не починили. Часто материала не хватало, так они с того на это переводят, там подвернут, здесь подпаяют. Для них не было невозможного. Так что потом, когда я перешел на стройку, мог разобраться с самыми трудными и сложными вопросами. Например, работал на установке холодильников, где все устройства зависели от электричества. И у меня не было с этим никаких забот.

Вот только водку пить я у них так и не научился. Это – уже на стройке. Но тогда даже стопочки в рот не взял, так меня саксофон держал. Как-то жил на квартире вместе с некоторыми из них, так каждый вечер меня уговаривали, приглашали выпить с ними. Меня уже начали подозревать – не доносчик ли я. Потому как, если им верить, тот, кто не пьет, тот стучит. Тем более, такой молодой. Не доверяли молодым. И не удивительно. Молодой готов на все, лишь бы старших обогнать. Молодому торопится. У молодого нет того тер-

⁸ Бимбер – польский самогон

пения, которого набираются с опытом. Нет у них того понимания, что все мы к одному придем. Молодым всегда кажется, что именно они построят новый, лучший мир.

Всем молодым. Новым молодым, старым молодым. А после себя все оставляют такой мир, что жить в нем не хочется. По мне, чем быстрее из молодости вырастают, тем лучше для мира, так скажу пану. Я был молодым, поэтому знаю. Тоже верил в этот новый, лучший мир. После такой войны нетрудно было в это поверить, потому что не было во что верить. А мало что так не побуждает к вере, как новый, лучший мир.

Так что нечему и удивляться, что могли меня заподозрить в том или этом, даже в том, что доношу, и все из-за того, что я не пил. Они ведь не знали, что я откладываю на саксофон. То, что откладываю, я держал в наистрожайшей тайне. Можно было, конечно, раз другой напиться, но я знал неписанные правила, существующие в любой компании. Выпил бы я стопочку, но ведь потом обязан был выставить, по крайней мере(!), пол-литра. Плюс закуска: хлеб, огурцы, колбаса. А у меня каждый золотый был на счету. Я отговаривался, что у меня язва двенадцатиперстной кишки. Хотя и не знал, что такое язва, зато знал, что двенадцатиперстной кишки. Как-то раз, только я в поезде зашел в купе, а там кричат – «груши, сливы, яблоки», кто-то кого-то угощает и тот толкует, что нет, благодарит, у него язва двенадцатиперстной кишки, так должен придерживаться строгой диеты. Более того, я и выглядел так, как будто так на самом деле и было. Много позже, уже за границей, выяснилось – да, действительно, есть она у меня.

Правда, как считали мои электрики, и не только те тогда, но и с которыми я жил на других квартирах, уже на стройке, водка была самым лучшим лекарством от язвы. Потому как почему у них язвы нет? Ну, почему?

Пан, наверное, удивится, но может, это было не так уж и плохо, что пили. Потому что когда не пили, так плохо спали. Представляет себе пан, умудохаются после целого рабочего дня, так сон должен их с ног валить. А тот – заснуть не может, тот – раз от разу просыпается, а тот, вообще, – не понять: то ли спит, то ли нет. А тут уже и рассвет, поднимайся, на работу пора. Самое плохое, если бессонница человека мучает, так самые разные мысли приходят ему в голову и, тем более, не дают ему спать.

Как-то в одном селе мы жили на квартире впятером, все старше меня, один я молодой, и жил с нами Мастер. Мы и за глаза называли его Мастером. Сходи к Мастеру, спроси Мастера, пусть тебе Мастер посоветует. Только его одного – Мастер. Сам не знаю, но, может, пан знает, как обычно Мастера в глаза называют. В любом случае, навряд ли кто-то скажет: Мастер. Он мало говорил, и даже когда водку пили, обычно не участвовал в разговорах. Водку любил, почему бы ему и не любить? Но слова нужно было из него вытягивать, как из самого глубокого колодца. И обычно это были слова, которые мало о чем говорили бы пану. Может, ему – да, но как другим – нет. Так, кто знает, может, над этим «нет», стоило бы и призадуматься. Но, увы, – некогда.

Однажды вечером, как-то так получилось, не пили. Поздно пришли с работы. Кто-то только спросил, есть ли что-нибудь у кого-то? Ни у кого не было, даже желания сбежать купить ни у кого не было. К тому же всем чертовски хотелось спать. Легли, потушили свет, стало тихо, я начал засыпать. Вдруг кто-то глубоко вздохнул, на другой кровати кто-то грузный, повернулся так, что пружины под ним заскрипели. И уже на всех кроватях начали переворачиваться, крутиться, поправлять подушки или одеяла. Кровати были из тех, что уже повидали на своем веку, так что чуть ворохнешься – уже заскрипели.

А у этого Мастера кровать была у самого окна. И он всегда, как свет погасят, курил. Ночью – тоже. Если просыпался – курил. Две-три папиросы обязательно должен был выкурить, только после этого снова засыпал. Только водка его сразу усыпляла. Хотя тоже зависело от того, сколько выпил. Как много, сразу засыпал. Мало – еще хуже мучился. О, уж тогда-то курил и курил. Тут же, рядом с ним, на окне, стояла пеларгония, и в горшок с ней он пепел стряхивал, гасил окурки. Утром всегда выбрасывал окурки, и по ним можно было точно определить, как он спал. И не только как спал.

По ним можно было определить – спит ли он или нет. Это же мы, электрики. Окурки для нас – это окурки. Дым всегда чувствуешь прежде всего, ну так мы и водили носами: о, накурил мастер, так накурил. Так и в тот раз – только он прикурив папиросу, какой-то и спроси его:

– Мастер не спит? Вот и я что-то не могу заснуть.

И тотчас же на всех кроватях завозились, что тоже что-то не могут.

– Вот так всегда, если перед сном не выпить, – пробурчал кто-то, а кто-то выругался. Кто-то вспомнил, где выгоняют самый крепкий бимбер. И начался разговор. А Мастер прикурив следующую папиросу. Страхивал пепел в пеларгонию, на мгновение освещая ее. А как затягивался, освещалось и его лицо. Можно было увидеть, что он лежит с открытыми глазами. Но вряд ли слушал, о чем разговаривали, потому что не отзывался ни словом. Я, как самый молодой, не имел голоса, только слушал. В конечном счете, что я мог бы сказать, когда, например, рассуждали, что бы который из них сделал, если бы узнал, что жена ему изменяет. Они были женаты, а я даже не думал об этом. Не знали только, был ли Мастер женат. Он никогда об этом не говорил. Ну а пан знает, если только подумать, что жена пану изменяет, так всю ночь можно глаз не сомкнуть. И днем на работе все из рук валится. Но каждый знал, что бы сделал. Тот бы убил, тот бы из дома выгнал, тот еще чего-то.

Потом начали рассуждать, если старый, то может ли еще, как состарился, если говорить об этом. Ну, пан понимает, о чем я. А если уже не может, то что тогда еще держит его в этой жизни. И стоит ли тогда вообще жить? На то какой-то возразил, мол, жизнью Господь распоряжается, поэтому человек даже думать – стоит ли? – права не имеет. Вот так и перешли к Богу. Можно ли после такой войны и дальше верить в Бога, или нет.

Тот считал, что нужно, потому что не Бог войну начал, люди. Другой, что если и так, то когда бы захотел, мог бы удержать людей. А другой, мол, как говорится: человек стреляет, Господь пули подносит, так что мог бы так войной поуправлять, чтобы меньше было несчастий, страданий, смерти. И начали рассказывать о разных случаях, которым сами были свидетелями или о которых слышали. А один так разошелся из-за того, что его брата расстреляли, что спросил откровенно: есть ли вообще тот Бог? И начал нас спрашивать кровать за кроватью, как по-нашему. Есть? Я сделал вид, что уже сплю. Под самый конец спросил Мастера:

– Мастер, как считаете – есть Бог?

Мастер погасил в горшке с пеларгонией папиросу и прикурив следующую. С тех пор, как мы легли, эта, пожалуй, была уже четвертой. И все это время он не произнес ни слова, как будто и не слушал вообще. Мы застыли в ожидании, что он скажет, словно от него зависело, есть ли Бог. Но он молчал. Пока тот, который спросил, снова не спросил его:

– Ну, Мастер. Как Мастер думает, есть? Или нет Его?

– Кто? – наконец отозвался тот. – Бог?

Не сразу ответил, только когда загасил папиросу:

– Зачем ты меня спрашиваешь? Зачем ты их спрашиваешь? Тут не проголосуешь. Себя спроси. Я только и могу тебе сказать, что там, где я был, его не было.

И снова закурил. Стало тихо, никто больше не смел ни о чем спрашивать. И никто больше не проронил ни слова. А через минуту-другую начали засыпать. Здесь послышался свист, там – более громкое дыхание. Я подумал, что и Мастер заснул, потому что от его кровати не было слышно ни звука. Пока он не закурил следующую папиросу. Я не мог заснуть. Забил себе голову мыслями этого разговора, потому что для меня все, о чем говорили, было словно за гранью моего воображения. А больше всего меня мучило, где же это был Мастер, что Бога там не было.

На другой день я подошел к нему, чтобы он мне что-то посоветовал, потому что у меня постоянно горят пробки, как только включаю трехфазовку⁹. И спросил его:

⁹ Здесь речь о трехфазной системе переменного тока

– А где Мастер был?

Он посмотрел на меня с подозрением:

– Скорее всего, ты там никогда не был, – после чего буркнул: – Принимайся за работу. Ты и сам уже знаешь, что тебе делать.

Если же говорить о саксофоне, то с каждым месяцем мне удавалось откладывать все больше и больше. Я не отказывался ни от каких сверхурочных. К тому же вечерами или в воскресенья выполнял частные заказы. Бимбера в счет оплаты я не брал, деньги. Брал меньше, но деньгами. Мог и подождать, но деньгами. Практически не было села, где бы кто-то не хотел, чтобы ему установили дополнительный ввод, другую розетку, а к каждому вводу или розетке нужно было тянуть провод. По правилам, а значит и по расценкам, можно было только один ввод, одну розетку на помещение. Но в селях – нет, в кладовых – нет, на чердаках – нет, нигде больше – не положено. Ну, на чердаках можно понять, чердаки в большинстве домов под соломенными стрехами и в случае короткого замыкания дом сгорит в момент, как спичка. Но если, например, идти через сени. И в темноте искать дверную ручку? Или в кладовую, что – с керосиновой лампой, когда в доме есть электричество?

Соответственно, мы делали там, где кто хотел. Естественно, надо понимать, частным порядком. Кто-то хотел в селях, в кладовой или над входом в дом, – я вас умоляю. Какие проблемы? Сделаем. Будет стоить столько и столько. Кто-то хотел, чтобы ему к хлеву протянули, почему бы и нет, сделаем. Редко, но случалось и такое. В одном селе кто-то даже хотел, чтобы ему к овину провели, потому что купил себе по случаю электромотор, мог бы молотить, веялку на электричество переделать, она же не все время будет работать. Мы протянули ему. Должен был только подождать, пока мы сэкономим материал на государственных заказах. И на чердаках под стрехами мы делали, если кто-то хотел у себя такое. Провод дополнительно изолировался, протягивали его через изолированную трубку, металлическую, но с изоляционным материалом внутри, и тянули на высоких консолях, на безопасном расстоянии от стрехи, по стропилам, а ввод шел от каминного провода. И ничего смешного. Частным порядком не запрещалось, не было никаких препятствий к этому. Что частным порядком можно, служебным или государственным, как пан и сам знает, – нельзя.

Но не все были за электричество, нет. Некоторые даже не позволяли, чтобы столб стоял перед их домом. Я теперь всю жизнь должен на столб смотреть? К чертям! Моя земля до середины дороги. Не раз с топорами на нас нападали, так что приходилось вызывать милицию. К домам не подпускали, прогоняли, как каких-то злочинцев. Но то, что касается домов, тут не было никакого принуждения. Не хотел кто-то, его дело. Как это толковали? По-разному. Что новая война скоро будет, о, только посмотри. А в войну самая надежная лампа – керосиновая. Не будет керосина, можно льняным маслом заправлять. И лен сеять. Из всего, что светит, только солнце, пока Бог даст, и керосиновая лампа не обманывают. И не должно быть так же светло ночью, как и днем. Дня – достаточно, ночь для того, чтобы спать. Вы пришли этот мир перевернуть? Еще и столбы с проводами? А что воробы или ласточки? Сгорят, и пепла от них не останется. Эти столбы молнии будут притягивать. А может и болезни.

Нам хватит и тех, которыми до сих пор болеем. У таких, должен пан понимать, не работаешь. Но по итогу, так неплохо на этих частных работах выходило. У мельников, например, пока мельницы у них не национализировали. В плебаниях¹⁰, в костелах. Хотя

¹⁰ Плебания – подворье священника католической, реформаторской или униатской церкви в Польше и Белоруссии. Обычно располагается поблизости от храма и включает в себя как жилой дом, так и хозяйственные постройки.

со священниками по-разному было. Как правило, обязательно срезали от цены, на которую договаривались, мол, за это Бог заплатит.

Как-то, когда я снова пересчитал, сколько у меня уже собралось на саксофон, мне показалось, что, может, и хватит. Я не знал, сколько саксофон стоит. Начал расспрашивать у музыкантов по селам, знали, сколько стоит гармония, скрипки, кларнет, но о саксофоне мало кто даже слышал. Ну, так я отпросился на день и собрался в ближайшее местечко. Был там музыкальный магазин, но саксофона не было, и даже не знали, сколько он мог бы, особенно сейчас, после войны, стоять. Какое-то время я откладывал дальше, поднакопил побольше. Снова саксофона не было, но пообещали, что узнают, что бы он мог стоить, может даже попробуют заказать, если он есть. Посмотрят в частном порядке, может у кого-то есть, потому как иногда им люди приносят инструменты на продажу. Я оставил им свою фамилию. Хотел дать аванс. Но не взяли. Сказали, чтобы через месяц-другой приехал. Если будет, они оставят.

Пан и представить себе не может, но я каждый раз, перед тем, как заснуть, представлял себе, что вешаю саксофон на шею, беру мундштук в рот, перебираю пальцами по клавишам. Я даже решил, когда он уже будет у меня, накрою всем поляну и сам напьюсь допьяна.

Вдруг однажды, как гром среди ясного неба, услышал кто-то по «кукурузнику» – обмен денег. Что такое «кукурузник»? Нет, не самолет. Так же говорили про динамики радио, которые мы тоже устанавливали, естественно, если кто-то хотел, в домах, где уже было электричество. А обмен денег, знает пан, в чем заключался? Нет, не то, новые банкноты. Только на эти новые пан мог купить в три раза меньше. Не слышал пан о таком обмене? Да где только пан тогда был? Ну, в конце концов, это не имеет значения. В любом случае, о саксофоне мне уже не стоило и мечтать. Даже злости я не почувствовал, скажу пану. Вообще ничего не почувствовал. Единственное, что почувствовал, так это то, что незачем дальше жить. И решил повеситься.

И как-то собрался сделать это на трансформаторном столбе. А трансформаторный столб выглядел, как заглавная буква А. Он состоял из двух столбов, которые вверху соединились вместе, а ниже, для усиления конструкции, были соединены поперечной балкой. Вот на этой балке. Накануне я одолжил веревку у одного хозяина. И под вечер, как закончил работу, сложил инструменты в сумку, сумку спустил на землю. Один конец веревки я привязал к этой поперечной балке, на другом сделал петлю. Надел петлю на шею и уже хотел отцепиться от столба, но еще кинул взгляд вниз, на землю, и увидел дядю Яна. Он стоял с задранной вверх головой и смотрел на меня, что это я там делаю. Нет, не привиделось мне. Я видел его, как сейчас пана вижу.

– Не делай этого, – сказал. – Я повесился. И что? Не вижу никакой разницы.